

В поисках Култука

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ*

Как назвать учёного, который в доказательство своей теории приводит цитату из вымышленного романа, или, скажем, писателя, для подтверждения художественных достоинств своего опуса призывающего на помощь мнение исследователя беспозвоночных?

Я прожил в Култуке более тридцати лет, и мне всегда любопытна не только современная, но и историческая действительность этого замечательного во многих отношениях посёлка. Я с интересом читал «Родовое гнездо» Виктора Дёмина, гражданина и верного сына своей малой родины, он приезжал из Иркутска в родительский дом, мы подолгу беседовали и о Култуке, и об истории России, и о многом другом, что нас сближало.

Когда я заканчивал книгу «Избушка под крутой горой», о култуковских поселениях, возникла необходимость предварить её краткой историей возникновения посёлка. В своей небольшой дачной библиотеке обнаружил книгу «Путешествие в страну мраморных гор» (авторы С. Гольдфарб, А. Кобенков и А. Харитонов) о Слюдянском районе, подаренную мне учителями литературы Култуковской средней школы Л.Д. Спец, Е.Н. Лучиной и В.Л. Потаповой, о чем свидетельствовала дарственная надпись.

Увесистый, в твёрдом ламинированном переплёте журналистский труд, полный случайных сведений. О Култуке там сказано мало, к тому же цитаты из Виктора Дёмина по объёму превосходят всё написанное авторами сборника о нашем посёлке, его повествование является самым ярким, естественным по языку и конкретным в «Путешествии в страну мраморных гор». Не могу в доказательство не привести небольшой отрывок: «А разве наши сибирские села, наши деревни, прародители наших сибирских российских городов, составляющие мощь и славу нашего Отечества, не заслуживают золотых страниц российской истории? Об этом мало, досадно мало написано. Почему мы скромничаем, имею в виду историков и краеведов, не пишем, или мало пишем об истории и красоте нашего края, и деяниях простого люда, наших предков, которые веками облагораживали и обустроивали Сибирь, в которой будут жить наши дети, внуки и правнуки.

Говорят, каждый кулик свое болото хвалит. Да, это так. Для человека нет милее места, чем малая родина, его дом, его речка, его леса и горы, где он родился, крестился, вырос и вышел в люди. Я тоже, как тот кулик, не могу не замолвить несколько слов о своем гнезде, благодарю Господа Бога, что он подарил мне и моим односельчанам это святое место на Земле.

*Публикуется журнальный вариант очеркового повествования.

Отряд казаков под командованием старшины Ивана Похабова пришел, вернее, приплыл, от истока Ангары на юг Байкала в устье реки Похабихи в 1647 году, чтобы застолбить и присоединить эти земли к России. Он же заложил и Култушное зимовье — первый форпост России на востоке. За Култуком, в сторону севера и юго-востока, до берегов Тихого океана простирался целый континент, включая приамурские степи, на котором не было ни одного укрепленного зимовья, подобного Култушному. Они появились позже.

Тут возникает интересный вопрос, которым еще не задавался ни один историк, исследовавший южный Байкал: почему Похабов избрал местом стоянки не устье реки Култушной, одно из благодатнейших и красивейших мест, а устье небольшой, но полноводной безымянной речки, которую позже, как и местность, окрестили в честь первопроходца?

Позже, в 1675 году, подвиг Похабова и его казаков скромно засвидетельствовал в своем дневнике российский писатель и географ, посол русского царя Алексея Михайловича Николай Спафарий: «На самом Култуке есть река Култушная, и там пристанище есть, а Култуком называют самый край узкий Байкальского моря, где оно кончается».

Издатели книги не удосужились указать хотя бы в оглавлении, кто из авторов какую статью написал, поэтому я буду исходить из своей логики, мне думается, что за историческую часть отвечал С. Гольдфарб, как доктор исторических наук, а А. Кобенков и А. Харитонов состоят в книге по писательской линии. По характеру этот сборник в большей степени составительский, чем авторский, если исходить из объёма цитируемых текстов.

С первых же култукских страниц, у меня возникают вопросы. В исторической части приводится довольно большая цитата из романа Ивана Калашникова «Дочь Купца Жолобова», которая начинается так: «На восточном берегу Байкала есть маленькая деревушка Култук». Первое, что меня смутило, — исторический очерк начинается с литературной цитаты, а второе, что с географической точки зрения бесспорно, наш Култук стоит на западной оконечности Байкала. Что же получается? А получается очень забавная картина. Похоже, что автор, писавший сии строки, не бывал в Култуке, впрочем, это и не обязательно, тем более в наше время, когда существует виртуальная реальность интернета. То, что автор очерка не знает географии мест, о которых пишет, тоже не большая беда, он же историк, а не путешественник. Конечно, Иван Калашников мог ошибиться или намеренно переместить «маленькую деревушку» на другой берег и вообще написать чёрт знает что, это его право, он же не историк, а романист, если сказать ещё точнее — сочинитель. Назвать же сочинителем историка, который должен опираться на факты и достоверные источники, будет означать его некомпетентность и может звучать как оскорбление.

Но вернёмся к герою романа: «Долго он был в сем роде забвения. Между тем делалось светлее и светлее, туман начинал редеть и подниматься подобно завесе, открывая постепенно взорам путешественника скрывавшиеся за ним предметы. Сперва открылись мысы ближайшие, потом начали, так сказать, восставать из моря и отдаленные: Кадильной, Посольской и другие, подёрнутые синюю пеленою».

И эта картина, скорее всего, родилась из безграничной фантазии писателя. Попробуем разобраться. Большой и Малый Кадильный расположены примерно в 18-20 км от поселка Большое Голоустное по берегу Байкала, и из нашего Култука

их ни при какой погоде не увидишь. Мыс Большой Кадильный можно увидеть в ясный день из Переёмной, Прибоя или Мишихи.

Посольского мыса в настоящее время на карте Байкала нет, и может быть, никогда не было, но есть известный Посольский монастырь, есть Посольский залив, есть Посольский сор. Но даже если так когда-либо назывался выступ в море, то он должен находиться поблизости. Название это по историческому свидетельству относится к середине семнадцатого века. Здесь в 1651 году были убиты и похоронены члены русского посольства в Монголию царский посол Ерофей Заболоцкий, его сын Кирилл и их спутники. Посольство везло казну, с ним ехали монгольский посол, переводчик и промышленные люди. Миссия шла на судне и причалила к берегу, где на неё напали с целью грабежа ясачные люди хана Тарухая-табуна. Погибли 8 человек из 20 членов миссии, которые сошли с судна на берег.

Неточности встречаются и у Николая Щукина в исследовании «Море или озеро Байкал»: «За Хамар-Дабаном возвышается голец Шибет; Байкал окружен горами. Высочайшие из них лежат близ юго-восточной оконечности озера или, по-тамашнему, «култука». Здесь, в 50 верстах от берега, возвышается знаменитая гора Хамар-Дабан».

Заметим, что «култук» у Щукина в данном эпизоде не посёлок, а оконечность Байкала, согласно принятому в русских словарях значению — угол, кут, мешок, тупик. Отсюда и происхождение названия посёлка.

В другом месте Николай Щукин пишет: «Теперь кругоморская дорога идет от Иркутска через реку Ангару на запад, по горам, до юго-западного окончания Байкала, где стоит деревня Култук. Последний спуск к этой деревне простирается на 7 верст, однако же, дорога тележная. В Култуке берут верховых лошадей и едут восемь станций по высочайшим горам, имеющим до 1000 сажен от поверхности морской: тут нередко встречаются подъемы и спуски под углом 45°. Первый подъем — верстах в 10 от Култука на гору Култушную, с которой открывается бесподобный вид на Байкал. Дорога виляет направо и налево до вершины горы; потом идет по гривам гор все выше и выше, до станции Слюдянской, на расстоянии 30 верст. Здесь переменяют лошадей и, перевалившись через гору под Хамар-Дабан, подъезжают к самому грозному исполину. Берега Байкала пустынные и безжизненные: скучны для человека общежительного, но клад для живописца и мизантропа.

Только в юго-западном углу моря стоит порядочное селение Култук, оживляемое в глубокую осень приходом обозов из Кяхты и обратно».

Расстояния в 10 и 30 верст, на которые указывает автор — примерные. Есть и другие неточности, например, дорога «идет по гривам гор все выше и выше, до станции Слюдянской, на расстоянии 30 верст». В разное время верста имела различное значение, в XIX веке 500 сажен, до Петра I — 700, ещё ранее — 1000.

Остановимся, чтобы перевести дух: зачем автору понадобилось от Култука забираться в хребты, чтобы достичь Слюдянки, расположившейся на берегу моря, когда до неё можно добраться по ровной местности вдоль Байкала? Подразумеваю, что автор не ездил этим трактом, а использовал какой-то непроверенный источник.

Так что же это такое? В первом отрывке оконечность озера названа юго-восточной, а во втором — юго-западной. Кто же прав? Если уж учёные люди не могут договориться между собой, куда нам, любителям, податься, какую выбрать точку зрения, чтобы с этой точки сказать окончательно, как назвать оконечность Байкала на юге? Возьму компас и пойду искать место, в котором юг сходится с западом и востоком.

Но в данном случае, меня больше интересует посёлок Култук (или поселки?).

Я пришёл к выводу, что Калашников описывает совсем другой Култук, «на восточном берегу», а Гольдфарб нашёл у него тот Култук, который хотел найти, не обращая внимания на стороны света. У Калашникова в сюжете человек некий, «судя по платью... путешественник», сидит на камне «подле морского берега». И далее: «Сперва открылись мысы ближайшие, потом начали, так сказать, восставать из моря и отдалённые: Кадильный, Посольский и другие, подёрнутые синею пеленою». С такой же неопределённостью можно сказать, что герой романа сидит на западном берегу. Мыс Кадильный находится на западном, Посольского мыса на картах нет, но есть Посольск на восточном берегу. Из современного Култука, как ни старайся, даже в бинокль означенных объектов не увидишь. Можно, конечно, определить примерное место, в котором должен находиться наблюдатель, чтобы хотя бы теоретически лицезреть одновременно оба объекта, но вероятнее всего оно должно находиться где-то посреди байкальских вод...

«Култук» как географическое название в нашей области встречается неоднократно, есть посёлки в Слюдянском и Усольском районах, есть два залива с таким названием, возле нашего Култука и в Баргузинском заливе, есть Култучная гора и Култучная речка в окрестностях Култука, есть речка Култучная в Забайкальском крае, впадающая в Витим. А если войти в поисковую систему Интернета, то можно оказаться и на Каспийском море, что доказывает тюркское, а не бурятское происхождение названия, на которое указывает Калашников. В Википедии читаем: «Мёртвый Култук (бывший залив Цесаревича и залив Комсомолец) — ранее залив у северо-восточного берега Каспийского моря, ныне пролив в залив». Владимир Иванович Даль также указывает на тюркское происхождение слова.

Я уверен, что в девятнадцатом веке на Байкале было два Култука. Это заключение я вывел из той путаницы, в которую меня завёл Станислав Иосифович.

Примерно в одно время побывали на Байкале А. Мартос в 1823 г. и Н. Лорер примерно в 1827, предлагаю посмотреть на их описания Култука, одного и того же по версии Гольдфарба.

А. Мартос: «Култук построен правильно. В нём 21 дом, но улица расположена параллельно изгибу моря. Култукские окрестности заслуживают кисти художника Вернета, страстного любителя подобных приморских видов. Кедры величавые осеняют соседственные горы. Отсюда уже недалеко устья рек Слюдянки, богатой царством минералов, и Похабихи, которую называют в честь того Похабова, который построил острог Иркутский; сверх того, во многом как и воин и политик был полезен для службы русских царей. Култук, к чести жителей и местного начальства, содержится в такой опрятности, которую можно найти в окрестностях Норвегии и Голландии. Жители имеют изобильное хлебопашество и рыбные промыслы. Омули, сиги, хариузы и налимы водятся во множестве...».

А вот описание Н. Лорера: «Тем же лесом стали мы подниматься в гору; мороз был страшный, и я побаивался за моего слугу, немца. На рассвете на одном из перевалов я увидел впереди высокий хребет гор и узнал, что горы эти называются Хамар-Дабан и составляют границу нашу с Китаем. Мы стали спускаться, лес редел. Вправо (*Заметь, читатель! — В.К.*) блестел замёрзший Байкал, и в ногах наших далеко внизу открылся Мёртвый Култук, т. е. с десяток шалашей, служащих жилищем тунгусам, самоедам и поселенцам. С шумом подъехали мы к единственной избе Мёртвого Култука. И хозяин её вышел нам навстречу на крылечко. Бодрый старик, заложив руки за пояс, смотрел с удивлением на новопришельцев. Поздоровавшись с ним, я просил у него позволения нанять у него помещение».

Во втором описании Лорера говорится: «Култук окружён горами и скалами. Колоссальный Хамар-Дабан угрюмо высится над высотами, у подножья которых, на берегу Байкала приютился скромный уголок наш. Ни в каком календаре, ни на одной карте Азии... Вы не ищите Мёртвого Култука: это брошенный, забытый кусок земли. Одни тунгусы, бог знает, как его обрели, бог знает, как в нём прозябают без хлеба».

Предупреждал же Лорер, не ищите Мёртвого Култука.

И первое и второе описание Лорера относится к какому-то другому, не нашему Култуку. Об этом говорит и название «Мёртвый Култук», при подъезде Байкал открылся справа, но если ехать из Иркутска, он всегда будет слева. В Култуке, по описанию Мартоса, 21 дом, «жители имеют избыточное хлебопашество и рыбные промыслы. Омули, сиги, хариузы и налимы водятся во множестве», а через два года у Лорера: «это брошенный, забытый кусок земли. Одни тунгусы, бог знает, как его обрели, бог знает как в нём прозябают без хлеба». Не мог же Култук, за два-три года, по впечатлению Мартоса, к чести жителей и местного начальства, содержащийся в такой опрятности, которую можно найти в окрестностях Норвегии и Голландии, — вдруг превратиться в гнилой голодный угол. Никакой революции, никакого глады и мора не было. Значит, мы имеем перед глазами другой Култук. И ещё Лорер сказал, что не найдёшь его ни в каком календаре, ни на одной карте Азии. А Станислав Юсифович нашёл, но не там...

Если бы Станислав Гольдфарб не запутал меня окончательно, я не пришёл бы к открытию, что когда-то на берегу Байкала было два Култука, и находились они на разных берегах. Действительно, легко учиться на чужих ошибках, к тому же и исправлять чужие ошибки гораздо легче, чем свои.

Култукские поселенцы

То были самые ясные годы жизни, ещё теплилась надежда на светлое будущее, — завтра будет лучше, чем вчера — разносился из репродукторов бодрящий мотив, вокруг больших городов возводились микрорайоны, счастливые люди справляли новоселья, во множестве организовывались дачные кооперативы — горожане устремились на землю, подвластные зову крестьянской крови.

Писательских кооперативов не было, и не могло быть. Во-первых, писателей мало, во-вторых, эта сложная категория советских граждан была страшно индивидуалистична, и всё же дух общины захватил и нас, возникло некое стихийное поселение в Култуке, на южной оконечности Байкала. Там поселились и жили в летние месяцы писатели Ростислав Филиппов, Михаил Трофимов, Валентина Сидоренко, Анатолий Байборodin, Петр Реутский, Ким Балков, наездами и проездами, следуя за ягодами и грибами в Тункинскую долину, останавливались Валентин Распутин, Альберт Гурулёв, Геннадий Гайда, Василий Забелло, Александр Семёнов, Валерий Хайрюзов и многие другие. По аналогии с московским «Переделкино», Всесоюзным писательским Домом творчества, с чьей-то легкой фразы мы стали называть его «Недоделкино», не вкладывая в это какого-то особого смысла, кроме иронического. Недоделкино да Недоделкино.

Культук возник на горизонте не случайно. В то время жил там постоянно писатель Михаил Просекин, своими родовыми корнями уходивший в эту землю, работал в Слюдянке в районной газете, а когда вступил в Союз писателей, ушёл на вольные хлеба и поселился на улице Лесной, почти в конце распадка, начинавшегося от переезда на Транссибирской магистрали, и идущего вверх по разложине, между двумя довольно крутыми склонами, с юга на север. Света там было немного, солнце появлялось из-за восточного склона ближе к обеду, а до ужина уже скрывалось в берёзовых и осиновых кронах западного. Но картошка и прочие овощи там нарождались и радовали новообращённых дачников. Место не было идеальным для огородничества, холодный ветер с Байкала, покрытого льдом до начала мая, устанавливал свой климат. Но нам, природным неопитам, и эта суровость казалась ласковой и необходимой.

Как почти всякий сибирский мужик, Миша был и охотником и рыбаком, и грибником и ягодником, и столяром и плотником. Он был нашим проводником по ягодным и ореховым местам, и не одну ночевку мы провели с ним у костра, где-нибудь на Комаре, на Чайной, на Трубе, на Быстрой, на Лазуритке, на Грязном ключе, на Танковой дороге, на Бурутуе, и ещё бог весть в каких местах, которым и названия нет — негодья да неудобья, где даже черти не осмелятся селиться. И поздней осенью, когда в наспех сооружённом шалашике, принакрытом полиэтиленом, и зябко и сыро, улыбнётся удача, и в тесной прогнившей зимовьюшке удастся пристроиться на поднарах, и уже хорошо, и уже довольно, — в тепле и сухе.

Дом у Михаила был просторный пятистенок, с рублёными сенями, с баней во дворе. Он сам обшил избу изнутри горбылем, — зимними вечерами облагораживал ручным рубанком. Покрытые олифой стены приобрели экзотический вид, в отличие от традиционных белёных крестьянских изб. Нашлась и медвежья шкура, и изюбриные рога, и жилище обрело вид охотничьего домика.

Миша приезжал в город, приходил в Дом литераторов на Степана Разина, рассказывал о богатствах тайги, о красотах байкальских, народный язык его был откровенным и образным:

— Слушай, смородина нынче уродилась как котовы яйца. Поехали завтра.

Таёжный сезон начинался с черемши, затем шла красная, чёрная смородина, жимолость, за жимолостью — голубица, за голубицей — черника, за черникой — брусника и кедровые орехи. Ещё водилась на каменных россыпях за Карантином черная кислица, ее ещё называли каменная смородина, и даже ирга, по внешней похожести на садовую культуру.

Таёжное дело зависит от фарты, а вот оказавшись на земле, нужно что-то было с ней делать. Прежние, исторические дачники, дачники Чехова, русской классической литературы, были дворяне или разночинцы, и дача для них имела смысл загородного жилья, препровождения времени «на природе», где и сад, возделываемый другими, и труд, выполняемый другими, имели чисто эстетическое значение. Можно было бродить, восхищаться растениями и цветущими вишнями, рассуждать о вечности, ругать царя, кликать бурю, не допуская мысли, что ее внешние порывы сметут и вызвавших её: «Пусть сильнее грянет буря».

Мы же были огородниками, в нас проснулись крестьянские гены, и, засучив рукава, копали грядки, сажали редьку, репку, свёклу, морковку и прочую огородную мелочь, о возделывании которой не имели ни малейшего понятия. Но так как

этим занималась вся страна, то молва, обмен опытом, советы соседней по огороду, случайный разговор в электричке, — всё годилось «в строку» земледельческого сочинительства.

И ещё одной причиной облюбования Култука была наша, говоря старинным языком, «безлошадность»: никто из нас не имел автомобиля. Электричка помогала два раза в сутки точно по расписанию за три часа, если не случалось непредвиденных стояний в пути, добраться до Вербного, а там километр с небольшим по лугу параллельно стальным рельсам или прямо по насыпи, по шпалам, сходя на обочину, когда проносился товарный состав или пассажирский поезд. Надежно и даже выгодно, потому что билет на автобус стоил дороже, и останавливался он в центре поселка, а электричка иногда могла остановиться прямо на переезде, в двухстах шагах от наших домов. Но это уже зависело от машиниста, от его характера, от его сговорчивости и просто настроения. Он был и бог, и царь, а для нас и герой, — и никакое управление железной дорогой ему не указ. Иногда набиралась большая компания из нас и местных жителей, а это действовало на машиниста безотказно.

Электричка того времени — что-то наподобие цыганского табора, самостийной республики, этакая веселая вольница, конечно, далекая до Запорожской сечи, все же мирный народ, но чем-то отдаленно ее напоминающая. Проехать без билета считалось чуть ли не правилом хорошего тона, и каждый, кто был склонен к мелкому авантюризму, обманывал контролеров. Кассиров тогда в электричках не было, а касс не было на большинстве остановок. Контролеры, если и появлялись, то в будние дни ехали, как правило, от Иркутска до Большого Луга, чтобы вернуться в Иркутск обратной электричкой. Пассажиры, садившиеся в электричку после Большого Луга, соответственно ехали бесплатно.

Миша Просекин, опытным путём познавший эту систему, всегда брал билет только до Большого Луга, если контролеры все же появлялись, покупал у них билет на две-три остановки дополнительно. У Ростислава Филиппова был проездной участника войны с Афганистаном, который ему торжественно вручили на одном из выступлений.

Иные садились в электричку без билетов вовсе, а если появлялись контролеры, называли предыдущую остановку, то есть методика бесплатного проезда или с частичной оплатой была доведена до совершенства. Наиболее приткие, мы их называли «бегунами», и относилось это исключительно к молодежи, при появлении контролеров перебегали в другой вагон, на остановке по платформе возвращались обратно в «проверенный» на свое место. Но и железнодорожники приспособивались к реальности. Бывало, какой-нибудь заполошный заяц прыгает-прыгает из вагона на платформу, с платформы в вагон, и присядет, счастливый от обмана, а контролеры и войдут с двух сторон, как внезапный спецназ. И подступят к злоумышленнику, и до Иркутска его, стиснутого с боков, везут, и доставят куда положено, и взыщут с него за все недоплаты оптом.

Туристы закрывали рюкзаками маломерных таёжников, объём которых позволял уместиться под лавкою, но и это тоже бывало разоблачаемо. Короче говоря, борьба была нешуточная. Беганье от контролеров было неким не олимпийским видом спорта с преодолением препятствий, и пассажиры в большинстве своем относились к нему с веселием.

Сегодня не успеешь войти в вагон, как к тебе подходит кассир, а при необходимости появятся и представители «Желдорхраны» или полиции, так что массо-

вые соревнования на тему, кто кого обманет, остались за стуком доперестроечных чугунных колес. Хотя мелкая выгода и сегодня не исключается, всегда найдётся гражданин, считающий, что обмануть государство дело благое.

В конце восьмидесятых, начале девяностых годов, когда люди боялись вечерами выходить из дома, когда бандитские разборки и бытовой грабёж стали нормой жизни, электричка, особенно вечерняя, напоминала эпизод из киношного триллера конца света: какие-то редкие мутные и темные люди пили и курили прямо в вагонах, местная шпана по трассе с «полторашками» вваливалась «с гиканьем и свистом» в вагон на одну-две остановки; и когда в поисках тепла переходишь в другой вагон, видишь только что разбитые с усердием и тщательностью окна — ни одного целого, — утешаешься, как ни странно, тем, что и в мерседесах тоже нет надежного укрытия.

Да что там разбитые окна! Однажды вечером, возвращаясь в Иркутск, только отъехали от Большого Луга, кто-то выстрелил из ружья в электричку, пуля прошила четыре оконных стекла и просвистела между скамейками на уровне наших тел, обрызгала острой алмазной крошкой и чудом никого не задела. Было понятно, что «ворошиловский стрелок» целился в пассажиров, но не учёл, видимо, скорости движения поезда. Помощник машиниста заглянул в вагон и, не отвечая на наши вопросы, удалился в свой отсек. Поезд, не остановившись, катился по своей колее. Примерно в это же время в другом поезде, за сотни километров от нашего, выстрелом с обочины был убит в поезде брат писателя Николая Зарубина. Просто так. Из прихоти.

* * *

Первым соблазнился Култуком Ростислав Филиппов. Он купил дом у Михаила Ивановича, старого цыгана, участника войны, разведчика. Они договорились так, что Михаил Иванович еще долго жил в зимовье рядом с домом, пока не переехал к своим приемным дочерям в Иркутск. Михаил Иванович был человеком рельефным, но, чтобы не утомлять читателя, лучше приведу стихотворение Ростислава Филиппова, которое и образно и живописно ярче покажет портрет и характер этого человека, чем я своей скупой строкой.

*Изба — чертоги в Култуке.
И рядом ходит в полной славе
с ромашкой белою в руке
июль — улыбчивый красавец.*

*И не читаю я газет.
И не смотрю на телевизор.
Я здесь бросаю дерзкий вызов:
Газетам и экрану — нет!*

*Великолепно в Култуке!
Ни слова о по-ли-ти-ке!*

*Но мой сосед Михал Иваныч,
пенсионер, кроликовод,
но мой сосед Михал Иваныч
никак забыться не даёт!*

Ему известен шар земной.
Ему известна вся планета.
Ведь как разведчик полковой
он лично сам прошёл полсвета.

К тому ж, хотя весь день кролям
он косит сено, клетки чистит,
всенепрерывно по ночам
подолгу слушает транзистор.

И утром двери заскрипят,
сосед войдёт, воздымет руки
и грохнет об стол: — Вот подлюки,
что в Гватемале-то творят!

Допьём вчерашнее вино.
И я узнаю в три минуты,
что там, в Париже решено
и что... ну эти... — фу-ты, ну-ты,
а вроде вникнут всё равно.

Я ухожу к себе на грядки
полоть морковку и салат.
Июль. Жара. Лягушки в кадке.
Покой. Шмели в цветах гудят.

Глядь — Михаил Иванович рядом.
— Давай покурим мой табак.
— Смотри-ка, туча снова градом
грозит, как Рейган, так-растак.

И снова — травка да муравка...
Сгребает сено... Чинит дом...
Да, кролик — к пенсии добавка.
Прибавка, понял я, с горбом.

Бывает, выпьет граммов триста
и час-другой в тени лежит.
Шотландская овчарка Криста
его привычно сторожит.

Он отдыхает, но при этом
собаке строгий даст наказ:
— Следи за подлым Пиночетом,
чуть что — всех передушишь враз!

Великолепно в Култуке...
Дожди не мучают покамест...
Взглянул в окно — там ходит август
с ранеткой красною в руке.

Уже осеннюю угрозу
почуял свет, почуял цвет.

*Уже на мясо зверпромхозу
сдан подлый кролик Пиночет.*

*Синей становится Байкал
от холодов ночных, похоже.
Уже на землю лист упал.
И гриб в тайге пропал. Но все же*

*великолепно в Култуке!
Опять приехала подруга...
Сосед мой Кристе вдалеке
кричит: — Не лайся, Тетчерюга!..*

И все же не могу не добавить о Михаиле Ивановиче, слишком уж колоритная была фигура. Он поселился на улице Лесной в крайнем доме, за которым начиналась тайга, лет за десять до Просекина. Не от простой жизни, в местах не столь отдаленных (а в Сибири у нас всё близко) заработал туберкулёз и поселился на отшибе, в стороне от людей, доживать скудные, по определению врачей, остатные деньки. А чтоб было какое-то заделье — не ждать же безносой сложа руки, — стал разводить кроликов, и как сам он мне говорил, именно крольчатина и вода из ручья, которую он считал целебной («и живая вода из ручья» в стихах Р. Филиппова перетекла из этого распада), вернули ему здоровье: легкие зарубцевались. Михаил Иванович, как почти все прежние сидельцы, мог и печь сложить, и сапоги стачать, а уж подшить валенки — плёвое дело. И портняжить тоже наверняка бы смог, если бы нужда заставила, мог держать в руках и шило и иголку. Да и коновалом был известным на весь Култук, приглашали нередко хряков вылаживать.

Но однажды случилась оказия, о которой и соседи помнят, и он сам не прочь был иногда за стаканом водки — рюмок он не признавал — рассказывать эту историю, но надо было обязательно попросить или напомнить, сам об этом никогда не заговаривал. Рассказчик он был редкого живописания, если по случаю начинал вспоминать истории из фронтовой жизни, я сам бывало не одну ночь слушал его, да сожалею теперь, что по лености своей не записывал, мало в дырявой памяти со временем что осталось, это была та правда, о которой не прочтешь даже у Виктора Петровича Астафьева.

Просто анекдот

Привезли Михаилу Ивановичу горбыль. Надо заметить, что данный пиломатериал, кто не знает, это продольные горбушки от брёвен, когда их пропускают через пилораму и получают лафет, а из него в дальнейшем пилят брус или распускают на доски. В советское время это были бесплатные отходы производства, и чтобы не захламлять территорию пилорамы, горбыль развозили по поселку и сваливали там, где нуждающийся житель укажет. Можно было и самовывозом брать сколько хочешь, или заказать знакомому шоферу, или заплатить на предприятии за вывоз, и тебе доставят по адресу.

Самосвал пришел утром. Михаил Иванович стал показывать куда сваливать, водитель стал сдавать к забору, а Михаил Иванович не успел отскочить, и его мужское хозяйство, когда доски поехали с кузова, оказалось резко прижатым выдвинувшейся горбылиной к забору, и он потерял сознание. Шофер сбегал на ручей,

набрал ведро ледяной воды и привел несчастного в чувство. Штанина была разорвана, шофер побледнел и молча смотрел, только глаза бегают вверх — вниз. Но разорванной оказалась не только брючина, но кое-что более важное для Михаила Ивановича.

— Чего уставился, яиц живых не видел? Дуй за водкой, — эту фразу, когда он рассказывал кому, Михаил Иванович всегда заканчивал, прищурился правый глаз, понимал, что она коронная в рассказе. Слушатели обычно грохались со смеху.

Тем временем Михаил Иванович готовился к операции. У него были специальная игла и нитки, которыми он зашивал у борова то же самое место. Через минут пятнадцать вернулся шофер. Михаил Иванович вымыл водкой руки, протер нитки и иглу, налил до краёв в стакан и не спеша, глотками выпил, занюхал половинкой лежавшей на столе луковицы, и приступил к делу.

— Может, в больницу поедет? — содрогаясь внутренне, не мог успокоиться шофер.

Совсем молодой парень с отвислыми руками и птичьим профилем был глубоко испуган и не мог скрыть волнения.

— До свадьбы заживет, — выдержав длительную паузу, спокойно ответил Михаил Иванович.

Свадьба, конечно, понадобилась для красного словца, но зажило скоро и надежно.

Иногда приходила к Михаилу Ивановичу култукская женщина Валентина, улыбающаяся, хозяйственная, нигде не работавшая, наводила у него порядок, стирала, мыла, варила еду и жила у него до определенной поры. Он рядом с ней выглядел подростком, она по широте кости своей была раза в два шире его, а если замерить по периметру груди, то и в четыре. Когда она глубоко вздыхала, казалось, он преспокойненько мог бы поселиться у неё за пазухой. Разновеликость внешних форм не мешала им сожительствовать мирно и нешумно.

Но была в этой женщине одна странность. Когда Михаилу Ивановичу принесли пенсию, он непременно отмечал это частное, но не столь частое, как хотелось бы, событие, для чего отправлял Валентину в магазин, все же она была значительно моложе его, к тому же знала, что еще кроме спиртного нужно закупить на ближайшее время. В предвкушении праздника он забивал кролика, а так как магазин находился внизу, в поселке, и до него надо было спуститься вниз почти на километр, а потом вернуться обратно, он не торопясь начинал чистить картошку, чтобы потушить с крольчатиной...

Валентина не возвращалась ни через час, ни к ночи, ни на следующий день. Но проходила какая-никакая неделя, и она вновь являлась не запыхавшись, как ни в чем ни бывало, как солнце в ясный день из-за увала, и Михаил Иванович, попяняв ей, оставлял ее в доме до следующей пенсии.

* * *

Я купил небольшой домик на улице Льва Толстого, на отшибе от других писателей, на окраине, под горой, за которой начиналась тайга. На улице Лесной дома не продавались, хотя изначально мой взгляд был обращен туда, где жили Просекин, Филиппов.

Примерно в одно время с нами поселились на Лесной улице Михаил Трофимов с Валентиной Сидоренко, общих детей у них не было, трофимовские Настя

с Иваном и Валентинин Пашка со товарищи обшелушивали за сезон все возможные и невозможные ягодники и кедровники, ловили рыбу в слюдянских озерах, стреляли из рогаток кедровок, которые крикливыми стаями перелетали из одних угодий в другие прямо над нашей горой.

Способ охоты был давним, и никто даже из старожилов не помнил, когда он зародился. На вершине горы, на лысой опушке подвешивалась на сук какая-нибудь металлическая посуда или кусок жести. По ним били куском металлической трубы или длинным прутом. Кедровки слышали этот дальний стук, вероятно принимали его за удары промыслового колота, извещающего о начале сезона, и летели на этот звук, другого объяснения я не знаю. Когда они подлетали близко всей стаей, поджидавшие их охотники начинали свистеть, а есть среди них большие мастера художественного свиста, кедровки, принимая этот свист за свист крыльев стервятника, резко падали вниз, рассаживаясь на ветки деревьев или на перекладины, специально сооруженные для удобной стрельбы. Пока кедровки соображали, что происходит, добычливые и цепкие сорванцы успевали отстрелять одну-другую зазевавшуюся птицу, снова били в «колокол», и всё повторялось до той поры, пока перелет не заканчивался.

Кедровок у нас не любят, потому истребляют безжалостно, как будто мстят им за то, что они могут в одночасье спустить шишку на огромной площади. Утешает, что она не находит часто орехи, которые прячет в лесной подстилке, и со временем они прорастают, поднимаются высоким кедровым лесом, снова давая пищу себе и людям.

* * *

Наши улицы пересекались у переезда, мы ходили к друг другу, обменивались семенами и советами, говорили и о литературе, но длительности и основательности в наших разговорах не было, мы были заняты конкретным трудом, получая редкие минуты отдохновенья уже в сумерках или в темноте, после позднего ужина, готовясь ко сну, который всегда бывал желанным, крепким и кратким.

Я сколотил из досок несколько прямоугольных каркасов для грядок, чтобы земля не осыпалась по сторонам. Жена Тамара занималась посадками. Но ни она, ни я не знали, как всходят семена, какой имеют вид, поэтому в начале грядки стояли таблички на стойках, выстроганных её братом Романом, резчиком по дереву. На каждой из них стамеской он рельефно вырезал название овоща, который должен появиться на свет Божий на данной грядке. Геометрия была выверена: ровные прямоугольные параллельные грядки радовали нас.

Михаил Просекин пришёл вечером, звал на следующий день пойти за черемшой. Посмотрел на сооружения, почесал затылок:

— У вас тут как на литовском кладбище...

Умел он кратким и ёмким народным словом изобразить картину.

Когда полезла зелень из серой, сыпучей земли, никакие таблички не спасали, с трудом распознавались хилые культурные ёлочки моркови среди ошетилившихся сорняков.

И, видимо, зов земли, любовь к ней пробудили в нас доставшуюся от предков потребность, и сделали это занятие необходимым на долгие годы, и не столько в смысле результатов, сколько самой неожиданности и радости труда.

Тайга, природа для нас, сибиряков, нечто большее, чем просто лес или река. С детских лет мы естественно и незаметно вживаемся в окружающее нас пространство, прорастаем в него, как деревья, и становимся неотъемлемой частью, становимся сами этой природой, и уже не можем жить без походов в лес, без рыбалки и охоты, и это не развлечение, а образ жизни. Чиновники, предприниматели, творческие люди и все другие, объединённые званием сибиряка, родственны не столько территориям, сколько общими пристрастиями.

У Михаила Просекина был мотоцикл «Урал» с коляской, обшарпанный, помятый, выдавший и глубокие кюветы, и тяжелые колдобины, он называл его «Артамоном». Машина незаменимая для таёжных дорог; всегда можно вытащить, выкатить из любой ямы; подтолкнуть, если забуксует. Далеко в тайгу и на нём не уедешь, вокруг Култука крутые склоны, поэтому больше приходилось топать пешком. Но за черемшой в район Тибельтей ездили на мотоцикле. Оставляли трёхколёсного работягу на обочине, и уходили собирать черемшу.

Артамоном назван в его повести «Дом из силикатного кирпича» автомобиль главного персонажа, председателя исполкома Дениса Матвеевича Рябых, которому он передал много своих черт и внешности и характера, и даже название собственного мотоцикла: «Наличествовал при Сысовском поссовете старый, возможно, самого первого выпуска «бобик» с человеческим именем Артамон, с выцветшей и опавшей брезентовой крышей, тряский, скошенный вбок, на удивление живучий, благополучно миновавший все сроки списания». Ну а если средство передвижения названо так же как у автора, то и пристрастие к рыбалке у героя — просекинское, и сама рыбалка выписана с любовным чувством: «О-о, какие виды рыбной ловли знал Денис Матвеевич!.. Водил он по лунной дорожке, уложенной вкось реки, искусственную мышь из нерпичьей шкурки и лавливал пудовых тайменей; нет-нет, не стоит слушать байки о невероятной борьбе с этой рыбой, бежит она с заляченной крючками пастью, ушибленная и потерявшая удачу, легко и податливо, только успевай подматывать леску. Налавливал он, сколько хотел, горбчатых толстокожих окуней; те берут червя или блесну жадно, нарасхват, а идут вверх тоже покорно, без лишних выкрутасов, со вздыбленными колючками плавников. А сколько повыдергал на своём веку ленков и хариусов! Доставал из-под берега голыми руками, не боясь никакой земной твари, раздавленных в боках от печени налимов; они ведь хищники, вовсе не вялые, как думается, и брать их надо хватко, вздав, и моментально выкидывать на берег... Освоил он и зимнюю рыбалку, даже соорудил фанерную будку с железной печкой, отапливался по целым ночам и ловил на Байкале омуля, правда, уже этого, выведенного по науке, маленького и юркого, безвкусного; там нужна особая чуткость, потому как берёт он наживку разборчиво, немного держит её в губах; подсекать его следует легонько и тащить вверх равномерно, внатяжку, без малейших рывков». Иногда автор доходит до таких подробностей, которые можно назвать пособием для начинающих рыболовов: «При ловле карасей другое улаживание души, тут иной смак. Снасть берётся самая простейшая — тонкое удилище метров пяти, привязывается леска 0,3 мм в сечении, поплавок не больше напёрстка, крючок № 4; наживляется обрывок дождевого, средней толщины червя. Карась берёт вроде бы по принуждению, лениво как-то и уходит куда-нибудь в сторону, в тину, в заросли. Вот здесь-то и надо не упустить момент, вздёрнуть кончиком удилища, засечь и повернуть рыбёшку на себя и выбросить на берег».

И в других героях этой повести узнаваемы култукские жители, например в директоре автобазы Валерии Николаевиче Косенке — директор «Автовнешстранса» Роман Захарович Луцик. Михаил Просекин был народным писателем, героев своих он брал из жизни, как и сюжеты, потому и сегодня его повести и рассказы не утратили правдивости и живости.

Озёра между Слюдянкой и Шаманским мысом кишели карасями. В воскресные летние дни чуть ли не весь берег вдоль железнодорожного полотна был плотно усеян рыбаками, от малышни до стариков, и каждому по мере сноровистости и удачи воздавалось этой костлявой, солнечно-золотистой и удивительно вкусной рыбой. Ездили и мы из Култукки бывало большими ватажками вместе с ребятыней, иногда коротали краткие июльские ночи у костерка, чтобы на самой ранней зорьке, когда клёв особо хорош, утолить этот извечный неутолимый рыбацкий голод.

Ездил я и один на своём дорожном велосипеде. Накачивал лодку, выплывал подалее от берега, якорился шестом, находил прогалину в зарослях белых лилий, восточным ковром расстилавшихся по поверхности, подкармливал место перловой кашей и, если погода сопутствовала, а карась обнаруживал моё угощение, надёргивал бывало по ведру золотых, величиной с ладонь, разжиревших карасей.

На Мишином мотоцикле ездили на Большую Быструю. Но там надо было идти в хребты, поэтому мотоцикл оставляли в Анчуке, десятком домов растянувшимся вдоль речки, у знакомых Михаила, и поднимались в гору к Витькиному зимовью. Там и орех был, и брусника. Иногда приходилось ночевать в тайге не одну ночь, особенно если ходили бить орехи. Орех надо было набить, перетереть, шишки отвеять, просушить или, как у нас говорят, прокалить. Можно, конечно, и сырой орех нести домой, но прокаленный — он и легче, что немаловажно, так как тащить на себе приходится несколько километров; и к тому же, прокаленный орешек вкуснее, а обрабатывать его в коммунальной квартире и хлопотно, и несподручно. Хотя бывали обстоятельства, когда я привозил домой орех только перетёртый, вместе с терехом. Мука мученская отбирать и отвеивать орех с помощью вентилятора.

В промысловой зоне возле зимовий, как правило, всегда есть мельница, в которой разминаются шишки. Устроена просто. В короб помещается вал металлический или деревянный с шипами, сбоку к нему приделана ручка. Крепится машинка к дереву. Один шишкарь крутит ручку, другой засыпает в короб собранную шишку, которая размалывается и падает вниз. Затем эту массу ссыпают на сита, квадратные жестяные поддоны с загнутыми краями, называемые решета, с отверстиями такого диаметра, чтобы в них мог проваливаться орех. Отверстия иногда высверливаются, а чаще, так как готовят из подручных материалов, пробиваются острым железным костылём диаметром миллиметров десять. Иногда используют металлические сетки с соответствующей ячейкой; крупная фракция остаётся на решетах, её вытряхивают тут же в сторону. Поэтому вокруг зимовья в кедровниках образуется толстая подстилка из отработанной шишки, где любят пировать мыши и бурундуки, выискивая в отходах попавшие туда ненароком орешки.

Вместе с орехом сквозь решета проваливаются и частицы раздробленной шишки величиной с орех и меньше. Эту сухую «кашу» отвеивают. Происходит это так. Между двух деревьев на высоте полутора — двух метров прибивают жердину. К ней по всей ширине укрепляют полиэтиленовую плёнку, спускают полосу и расстилают по земле на 5-7 метров от свисающего полотна. Затем специальным совком, деревянным или металлическим, берут отсев и бросают его на свисаю-

ций вертикально полиэтилен. Самые тяжёлые и спелые зёрна долетают до «зеркала», а остальная масса падает и оседает ближе, её сметают в сторону, а чистый орех собирают в мешки.

И, конечно же, качество работы зависит от навыка веяльщика. Если бросить не слишком резко и не слишком сильно, то орех может не долететь; а если сильно, то в чистый может попасть и пустой орех, и траектория полёта должна быть задана точно.

После нескольких пробных бросков опытный веяльщик обязательно пройдёт и поднимет орех и возле «зеркала», и ближе к месту броска, и определит насколько работа чистая, а уж потом будет бросать без передыха, пока не перекидает весь отсев.

Раньше, когда работали артельно, то и приспособления использовались постоянно, и служили не один сезон: мешки, сбирки (специальные мешки, полости, пасти, вешавшиеся через плечо), мельницы, колот, который стоймя прислонялся к кедрине до следующего урожая. Случайные, как мы, добытчики ореха использовали подручный материал, какие-нибудь картофельные мешки, в них собирали шишку, привязывая к углам верёвку, в них же потом ссыпали чистый орех. Сок для отвеивания делался обычно из подходящего размера консервной банки или полиэтиленовой бутылки, обрезанной наискось, годились алюминиевая или эмалированная кружка, объёмом до полулитра, или чуть больше.

Ореховый промысел в Сибири — явление уникальное, в нём выражался и проявлялся русский общинный характер. Можно, конечно, одному ходить с колотом, бить и собирать, и обрабатывать шишку, но всё же идеальным считается, когда на один колот приходится двое-трое сборщиков. Артелью, как говорится, и батьку бить легче.

Мешки припасаете из дома, колот делается на месте, в тайге^{**}. Выбирается подходящего диаметра берёза, её древесина более плотная и тяжёлая, чем у кедра (да живой кедр и не принято использовать для колота), из неё выпиливается сутунок, чурка, 60–70 сантиметров длины, к ней в середину врезается под углом длинная ручка. Этот огромный деревянный молоток (колоток) носится на плече, ставится на полшага от дерева на рукоятку, отводится на себя, а потом им с силой ударяют по кедрине, от сотрясения спелая шишка срывается и летит вниз.

В Сибири говорят именно кедрина (по аналогии с сосной) — женского рода, потому что она даёт урожай, т.е. рождает шишки.

Колота бывают разного размера и запиливаются под разным углом в зависимости от местных традиций. В Качугском районе, к примеру, древко короче, а сам молоток длиннее. В иных местах орех бьют колотушками, наподобие толкушки, используемой на кухне для толчения картошки; высотой чуть меньше роста человека, её берут двумя руками и наносят удар поперёк; или делают колот наподобие большой киянки, известного у столяров деревянного молотка, но только крупнее.

Тот, кто ходит с колотом, обычно надевает шапку-ушанку или каску, так как шишка в 100–150 граммов, падающая с высоты в несколько десятков метров, может серьёзно повредить голову. Но иные удалыцы в момент падения шишки подставляют голову под колот, и он берёт удар на себя. Но если чуть зазеваешься, то шишка вскочит на голову, по размерам не уступающая кедровой.

^{**}Татьяна Суровцева, удивительная иркутская поэтесса, всю жизнь прожившая в городе, естественно, не знала тонкостей и деталей орехового промысла, никогда на нем не бывала, и написала стихотворение, в котором «Спит у реки посёлок – съёжился, опустел. В сенах ружьё и колот всё ещё не у дел». Когда я ей объяснил, что колот — инструмент такой тяжести, что его не всякий мужик поднимет, что его никогда не уносят из тайги, она улыбалась. А в стихотворении он так и стоит в сенах на вечной прописке.

Федя Железный

Как-то мы с Михаилом Просекиным поехали в кедровник на Большой Быстрой. Зашли на хребет, прошли километра три (так все считали, хотя расстояния в тайге условны), потом по плоскотине до Витькиного зимовья. Так оно называлось по имени отшельника, прожившего в нём несколько лет.

Год был урожайный, народу вокруг зимовья и в самом зимовье набралось немало. Миша устроился ночевать под нарами в зимовье, как старожил данных мест, а я соорудил неподалёку шалашик с навесом из полиэтилена. Говорят в тесноте да не в обиде. Но мне почему-то всегда уютней пусть в прохладе, но, чтоб попросторней. К вечеру все собирались на таборе (так называют у нас место стоянки и ночёвки), жгли костёр, котелки на таганах притягательно курились. Основной едой были супы из концентрата, продавались они в бумажных пакетах во всех магазинах, добавишь в варево картошку, и получалась аппетитная и вкусная еда, ну а если случалась тушёнка, то это был уже шедевр таёжной кухни. Кто-то прихватывал из дома огурцы, помидоры, лук, чеснок, иногда яйца и, пожалуй, всё.

«Смотри, — шёпотом сказал Миша, — Федя Железный».

Слюдянский житель по прозвищу Федя Железный был обозначен в качестве одного из персонажей рассказа Михаила Просекина «Пчёлы». По сюжету, сосед его, Семён Варламович Дергоус берётся за экологическое воспитание Железного и даже вынуждает его писать под диктовку расписку: «ныне и в последующие годы обязуюсь: 1. Не приделывать к колоту резиновые оттяжки, дабы не уродовать кедрач. 2. В целях сохранения тайги не применять взрывчатку. 3. Заходить на шишкобой только в положенный срок».

Но Железный не был прост, одумался, смял бумагу и сунул в карман. Здесь, наверное, необходимо пояснение. Начну с последнего пункта, потому что из него вытекают предыдущие. В давние времена, когда в лесном хозяйстве был порядок и контроль, добывать орех начинали тогда, когда он созрел и легко скатывался вниз при первом ударе и средней тяжести колота. Позднее, когда бесхозного народу по тайгам шастало великое множество, мало кто дожидался полного созревания шишки, боясь опоздать, и колотить её начинали рано, когда она ещё плотно сидела на ветке. Я сам видел, когда собирал чернику, шишка ещё не созрела и висела цепко, а шишкобой с колотами наперевес оккупировали кедровник, лупят несчастные кедровые по несколько раз. Упадет несколько шишек, подбирают — и идут дальше, а следом другая команда, и третья по тем же кедровым колошматит, собирая нешибкую дань, а за ними ещё и ещё, место удара на кедре ширится, как гематома, и от такого массажа многие деревья засыхают. Для усиления удара применяют помочи, оттяжки, которые привязывают к колоту, за них берутся двое, третий придерживает и направляет колот и добавляет своё усилие, от такой тройной тяги и вершины, бывает, ломаются, а шишка не падает. Но рассказывали таёжники, что бывали умельцы, которые привязывали к дереву динамит или пороховой заряд — это, скорее всего, из разряда таёжных баек, но бытует в народной памяти. Хотя, если рыбу глушили динамитом, то чем кедр хуже. Варварство и дикость не имеют границ и богаты на изобретательность.

* * *

Мы скинули горбовики, которые взяли на случай, если добудем брусники, а если нет, то можно было их заполнить орехом. Большинство таёжников ходили в

тайгу с горбовиками, это такой ящик из фанеры или алюминия с ляжками, ёмкостью от двух до пяти ведер, в него складывали еду, совок, которым брали ягоду, одежку, бельё, носки, котелок, кружку, ложку; сверху привязывали телогрейку или спальник (хотя в то время лёгких спальников не было, и редко кто брал с собой тяжелый геологический, но все же я встречал редкие экземпляры тяжеловесов), и обязательный кусок полиэтилена, чтобы накрыть шалаш на случай дождя.

Если поход был добычливым, в горбовик набиралась ягода, в нём она не мялась, а сверху привязывался мешок с орехом, и всё это взваливалось на плечи, но, как говорится, «своя ноша не тянет». Полиэтилен, топор, пила, а иногда и что-то из одежды прятались где-нибудь под валежиной, в уверенности, что придёшь сюда на следующий сезон...

Наспех перекусили, взяли мешки и пошли искать подходящее «для битья» место. Сезон только начинался, и мы поднялись недалеко от зимовья, соорудили колот. Мешки, наполненные шишкой, стаскивали вниз, к зимовью, высыпали в кучу и снова поднимались в гору. Мешки были небольшими, учитывая, что надо было захватывать горловину, чтобы нести мешок, производительность была небольшой. Обычно для удобства к нижним углам мешка привязываются ляжки, а верхней петлёй захлестывают горловину, тогда объём ноши увеличивается.

Но мы были любителями и плохо усвоили гоголевский урок и совет не отправляться в дорогу без верёвки.

Вечером у костра Миша решил поцыганить:

— Слушай, Федя, ты не мог бы нам ляжки дать. Ты завтра ягоду берёшь, а мы вечером отдали бы.

Федя глянул из-под густых с седыми завитками бровей. Особого сочувствия или участия глаза не выражали. Он молча порылся в горбовике и протянул Мише верёвку, но это была не простая верёвка. Это были две полосы от транспортной ленты шириной 4–5 сантиметров (они и ложились на плечи, и смягчали тяжесть, когда взваливаешь мешок на спину), с одной стороны они связывались верёвкой между собой, а за два других конца привязывались углы мешка, с опущенной в них шишкой, чтобы верёвка не сползала. А серединный конец петлёй перехлестывался на горловине мешка.

На следующий день до обеда дело шло споро. Но в какой-то момент Михаил оставил, то есть положил где-то во время передыха ляжки, и потерял место. Мы с ним облазили, исползали вдоль и поперёк предполагаемый участок, вырывали багульник, ворочали колдобины, но злополучных лямок не нашли.

Федя был примерно семидесятилетним мужиком широкой кости, чуть выше среднего роста, крупные черты лица выдавали характер непростой, но не злобный. За немногословностью чувствовалась твёрдая основательность. Угрюмый, он не производил тягостного впечатления. Ответ от костра огрублял черты и придавал лицу молчаливую свирепость.

Миша не знал, как сказать о потере, он заметил, что Федя Железный набрал почти полный горбовик брусники (на глаз он вмещал ведра четыре), и осмелел.

— Ну, как ягода? — спросил.

— Да ничего. Вся в горбовике.

Миша сдвинул крышку и присвистнул:

— Ого! Ты где брал-то?

— Да там уже нет, — скупно отрезал Федя.

Наступила нехорошая пауза.

— Знаешь, Федя, тут вот мы, знаешь, я, ну в общем, мы лямки твои потеряли, — Миша решил разделить ответственность на двоих.

Федя неожиданно спокойно повёл глазами в сторону Миши, сунул в костёр веточку, поднёс засветившийся конец к погасшей сигарете.

— А как я домой-то пойду? — Он кивнул в сторону двух кулей ореха и горбовика с ягодой. — У меня две ноши, челноком идти надо, а без лямок я куда? Иди, ищи. К утру лямки чтоб были.

Было странно, что он не повысил голос, не выматерился, спокойно докурил сигарету, щелчком отправил её в сторону костра и полез в зимовьё.

День был солнечный и сухой, какие бывают в начале сентября в Прибайкалье, и мы поползли по склону искать злополучные лямки.

Солнце уже закатывалось, но свет и тепло ещё держались на склоне, медленно сползая в низину.

Искать было бессмысленно, настроения не было никакого, и ещё предстояло объяснение с Федей железным, каким оно будет.

— Федя, делай что хочешь, хоть убей, но лямки мы не нашли.

Федя посмотрел на Мишу без удивления, как будто иного результата не могло быть.

— Ну, ладно. У меня ещё одни есть.

Мужики, сидящие вокруг костра и наблюдавшие развитие сюжета, захохотали, но комментировать ситуацию побоялись.

Утром мы смотрели, как Федя поверх горбовика положил мешок с орехом, надёжно привязал его. Ко второму большому крапивному кулю привязал лямки, попробовал их на прочность, опустился на колени спиной к ноше, накинуд лямки на плечи, потом вытянул из-под себя в стороны ноги, медленно поднялся и, ни слова не говоря, двинулся по склону. Через какое-то время он вернулся пустой, взвалил на плечи горбовик. Так он и будет идти челноком, попеременно перетаскивая то одну ношу, то другую до Тункинского тракта, будет останавливать машину, чтобы добраться до Слюдянки, а там рассчитается орехами и ягодой с шофёром, а потом понесёт орехи на рынок, чтобы иметь хоть какую-нибудь прибавку к нищенской пенсии.

Но я думаю, что не только заработок, тяжёлый заработок, гонит людей в тайгу, есть в этом промысле другая сторона, романтическая.

В советское время, 70–80-е годы прошлого века, в сезон, в дни отдыха, тайга наполнялась рабочим и служилым людом, ехали на электричках, на организованном на производстве транспорте. Личных машин в те времена было немного, но и они наполняли свое чрево до отказа. Не все и не всегда возвращались с добычей, но движение в таёжные дали не прекращалось.

Чай из самовара

К сыну пришёл Виталька, соседский мальчишка лет семи. Я разжигал-растопливал самовар. Снял трубу, затем крышку, залил из ведра воду, крышку закрыл, бросил в самоварное нутро бересту, затем настрогал лучин, бросил две горсти сосновых шишек, потом всякого мелкого древесного мусора, наконец запалил соержимое. Самовар не разгорался. Я взял сапог, надел его голяшкой на горловину и стал, как насосом, раздувать пламя.

Виталька внимательно следил за моими действиями. Он никогда не пил чай из самовара. К тому времени появились электрочайники, и самовары выбрасывали за ненадобностью. Я собрал их около десятка, не задаваясь целью, а просто подбирал встречающиеся на свалках за посёлком, возле заборов. У горожан на дачах была мода на обычные самовары, хотя в ходу были уже и электрочайники.

Но сам процесс, обряд, так сказать, дымок, вьющийся над трубой, посапывающее и посвистывающее нутро самовара рождали какое-то ностальгическое чувство, воспоминание о старине, о чеховских дачниках, о романтических историях...

Виталька смотрел-смотрел, и вдруг спросил:

— А что, вы это всё потом пить будете?

Не зная устройства самовара, он, видимо, думал, что я растопку складывал прямо в воду.

— Будем, конечно, и тебя угостим.

— Нет уж, спасибо, я лучше к бабушке пойду.

Василиса прекрасная

Пошел за водой, а точнее сказать поехал, потому что воду возил на специальной двухколесной тележке, на которую с помощью крюка цеплялась алюминиевая фляга. Встретил жену Бориса Гагарина, Галину, их дом находился рядом с водокачкой, и с давних времен повелось, что кто-то из Гагариных включал насос, обычно эта была баба Аня, мать Бориски — так она его сама звала, и ключ от водокачки всегда хранился у них.

— Как у вас вишня? У нас вся повымерзла, снегу-то не было.

— Да у нас та же история. На горе сухая стоит, а внизу, видимо земля влажнее, перезимовала.

— А вы в пятницу приехали, я смотрю, жена у тебя нарядная, такая трудолюбивая, всё время в огороде.

Я хотел было сказать, что один приехал, но промолчал, и только потом догадался, в чем дело. В это время начинала созревать ирга, ягода, любимая всеми птицами, а особенно сорокопугами, свиристями и чечевицами (свист этой птицы все знают, особенно он забавляет детей, и в переводе на человеческий язык звучит так: «витю видел», да и в самом названии заключено это звучание). Отбиться от этих обжор было невозможно, и я сделал чучело: сбил крестовину, повесил на неё какую-то цветную хламидину, нацеплял разноцветных полиэтиленовых лент, шуршащих от ветра, а сверху надел старую яркую женскую шляпку. Это пугало соседка и приняла за мою жену: через два забора да разные кусты не мудрено было и меня признать за Василису прекрасную.

Лови Петра с утра

Первая осень в Култуке. Вышел во двор, смотрю на Байкал, на Хамар-Дабан, вправо — влево. Брусницы бы набрать, куда идти? Взял ведро и пошёл прямо за речку — через мосток. Тропа вверх пошла — не меньше часа забирался в гору, взмок. Взошёл на вершину, прошёл по плоскотине метров сто: мать честная, брусника, нетронутая, крупная, спелая, хоть граблями гребли. Встал на колени и махом

наскрёб ведёрко полнёшенько — а ягоды не уменьшилось — обмотал его сверху рубахой, завязал рукава на случай, если ненароком запнёшься об коряжину, и скатился на радостях с горы как на лыжах, и к обеду поспел.

Пошёл на Лесную, там один Михаил Трофимов, погреб копает. Ни Байбородина, ни Просекина, ни Филиппова.

Утром, пока поднялись, пока чаю попили, Миша пришёл. В гору полезли. Я — с полутораведерным горбовиком, и Миша — тоже прихватил самодельный, поменьше моего.

Настроение в предвкушении благостное, не заметили, как на месте оказались. Смотрим, посреди поляны горбовик ведра на четыре стоит, и мужик култукский доскребаёт последние плодоносные метры «комбайном» (так у нас совок для сбора ягод называют, а ещё «хапушником», от глагола «хапать»). Приди мы пораньше — нам досталось бы. Так что лови осетра с утра. И Петра тоже.

* * *

Брусника — самая уважаемая и серьёзная ягода. Все остальные — для лакомства, а брусника — для жизни: и при простудах морс незаменим, и в капустку добавить при засолке нелишне. Официальные сроки сбора объявляются в зависимости от созревания, но всегда день выпадает на субботу, а значит, в субботу чуть свет все работающие култукчане устремлялись в ближайшие ягодные места. Места, конечно, известны большинству, но главное — успеть первым.

Брать белобокую бруснику настоящий ягодник не будет, дождётся, когда она дойдёт, и будет брать её хоть по оборышам (если нормальной не найдёт), но спелой, когда она уже бурая, почти чёрная. Тогда в ней и терпкость, и сладость, и всё то, что делает эту ягоду царской.

Случается, бродишь с ружьишкой по весне, и где-нибудь на солнцепёке, на проталине, наткнёшься взглядом на нетронутые с осени ни человеком, ни птицей, каким-то чудом удержавшиеся на плодоножках гроздочки переспелых чёрных ягод; осторожно соберёшь на ладонь, отправишь в рот. Нет в мире ягоды более запоминающегося вкуса. Кто не ел спелой брусники, только поморщится при упоминании: «Кислая», не зная вкуса созревшей и подмороженной ягоды.

* * *

В одну из суббот зашёл к нам Миша Трофимов, мы всем нашим колхозом — я, жена Тамара, шурин Роман, сын Сашка — были в сборе, потому что сговорились накануне сходить за брусничкой. Подняли свои горбовики, рюкзаки, ведра и двинулись за речку Култушную и вдоль неё: мест не знаем, идём — куда тропа ведёт. Вдруг видим — впереди какие-то женщины с ведрами, значит, местные, — городские с горбовиками в такую даль едут.

— Надо за ними идти, они нас в ягодник приведут, — это Миша Трофимов, шепотом.

Стараясь не шуметь, на приличном расстоянии двигаемся за ними. Они свернули в распадок — мы за ними, они стали подниматься в гору — мы за ними. Взобрлись наверх — брусничник стал попадаться. Выходим на самый верх, а там — как на первомайской демонстрации: голоса, звон ведер, только транспарантов не хватает до полноты картины. И дети, и взрослые — словом, опоздали.

Я предложил Мише пройти дальше, спуститься в распадок. Но Миша сказал, что будет брать ягоду здесь. Ползать по оборышам у меня желания не возникло. Мы спустились в низинку и напали на голубицу. Там её уже брали до нас, но, видимо, давно, когда она поспела только на солнцепёке, а в тенистых местах сохранилась нетронутой.

Пособирали вдоль ручья, развели костёр на сухом взлобке, вскипятили чай, перекусили, потом ещё пособирали. Тронулись в обратный путь. На том месте, где мы разошлись с Михаилом, Тамара вспомнила про Михаила:

— Интересно, а где Миша сейчас может быть.

Ходили разговоры, что Миша блудит в лесу, один ходить боится, и поэтому я в шутку ответил:

— Да здесь где-нибудь.

И крикнул во весь голос, просто ради шутки:

— Ми-и-ша-а-а!

— Я здесь, — отозвался Миша из-под куста недалеко от тропы под общий хохот, как будто весь день просидел на одном месте.

Сбор ягод — дело фартовое. Бывает, придёшь в ягодник, кажется, всё кругом выбрано на версту, но возвращаться пустым не хочется. Пойдёшь в одну сторону, другую, ноги изобьёшь, еле волочишься, и вдруг наткнёшься на нетронутую рясную ягоду — два-три часа — и полон кузов. Но бывает, что излазишь вокруг, сколько сил достанет, — и пусто, не уродилась.

* * *

Вспомнился Чанчур. Есть такой последний обитаемый пункт в верховьях Лены, а дальше, до самого истока — одни медведи живут да прочие таёжные обитатели, это уже территория Байкало-Ленского заповедника. Как-то осенью, лет десять назад, был я в тех местах. Старший инспектор заповедника Владимир Петрович Трапезников позвал меня на рыбалку, а заодно и за ягодой, за брусникой. День мы шли на моторе вверх по Лене, переночевали в небольшой зимовейке, стоящей на взлобке возле ручья, а утром, взяв только горбовики и еды на два дня, двинулись в направлении ягодника. Места здесь низменные, болотистые, иногда тропа поднималась чуть вверх по склону, затем снова сходила вниз, чавкала под болотниками в лывах жижа, осеннее солнце прожигало насквозь энцефалитку, пропитанную на спине потом, к вечеру мы дошли до зимовья. Сбросили поклажу с плеч, стали разводить костёр на воздухе, затопили печь в зимовье, она не топилась с прошлой весны, надо было прогреть сырой и пахнувший плесенью дух, чтобы приятно было спать.

— Я пойду ягоду посмотрю, пока светло, а ты сваргань супец.

Неприхотлив русский человек в тайге, и таёжная еда проста: начистил картошки, порезал на кубики, бросил в котелок, запузырилась вода, можно бросить макароны, лапшу или какую-то крупу, конечно, лук, при достаточной готовности опрокидываешь туда банку или две тушёнки, в зависимости от количества едоков — дёшево и аппетитно.

Вернулся Петрович не скоро.

— Вот надо же, в прошлом году я здесь двести литров набрал, по снегу на снегоходе вывозил, такая была замечательная брусника, а в этом году, видимо, весной морозом побило, совсем нет. Утром на гать ходим, может там есть.

Но и там ягода была некорыстной, набрали мы литра по три, чтоб не пустыми возвращаться, попили чаю и тронулись в обратный путь.

* * *

Городские жители, покупающие дома в деревнях и посёлках, всегда чужаки, их называют «городские», вкладывая в смысл не только место проживания, но и чужость. И никогда, каким бы хорошим, добрым, порядочным человек не был, не станет «своим». Дом горожанина все знают, он становится объектом грабежа, причём грабят постоянно, стоит уехать и вернуться через неделю, а неожиданные гости уже отметились. Поначалу уносили что-нибудь из съестного: банку тушёнки, сгущёнки, прихватят транзисторный приёмник, какую-нибудь одежонку, случайно оставленную в спешке, для тайги сгодится. Постепенно приучали к тому, что всё надо прятать.

В девяностые годы была в государственных масштабах внедрена диверсия по сбору металлолома, цветного и чёрного, стали тащить всё, что содержит металл: провода, лопаты, вилы, кувалда, лом, столярный инструмент, железные кровати, печные заслонки, чугунные плиты и дверцы, металлические печи из бани, любой электроинструмент, содержащий медь, не оставляли и алюминиевых ложек. Никакие запоры, металлические двери и железные навесы не помогали. «Против лома нет приёма» — совершенно точно сказано, лом — инструмент универсальный. Не брали только эмалированную посуду; алюминиевые кастрюли, сковородки, чугунные латки и прочее уносилось за милую душу.

Анатолий Байборodin — человек основательный. Навесил на оконные ставни железные запоры, заказал сварную металлическую дверь с гаражным замком. Для верности и надёжности соседских мужиков, приезжая, угощал городской бормотухой, опохмелял бывало особо слабых на глотку. Но и это не спасло. Один из этих прикормленных, припоенных, казалось, уже совсем ручных мужиков, которые, напиваясь, в дружбе до гроба клялись, однажды от нестерпимого желания выпить подломил надёжные запоры, унёс патефон, телевизор, фонарь о шести батареек, напоминающий прожектор, купленные на скудные писательские перестроечные гонорары. Сбагрил за бесценку, а потом сам же и признался по пьянке. Не со зла говорит это сделал и не корысти ради, какая корысть — опохмелка?.. А что с него возьмёшь? Разве что в рассказе каком-нибудь пропишешь для вящей славы родной литературы. Позже соседи стали вырубать зрелую капусту и выкапывать картошку...

Как я держал оборону

Когда я говорю о воровстве, я имею в виду не култучан вообще, — паршивая овца всё стадо портит, — а только тех, которые покушались, то есть, наведывались с корыстью в мою несчастную избушку, размером четыре на четыре метра жилой площади. Я на это указываю сознательно, для уточнения, потому что по количеству набегов, по их интенсивности и серьёзности можно подумать, что я имел особняк минимум в три этажа, обставленных всевозможной мебелью и кухонной и электронной техникой. Конечно, все, что завозилось на дачу — и телевизор, и стиральная машина, и электроплита, и радиоприёмник, и электрический

инструмент, и топоры, и лопаты, и тяпки, и грабли, и множество других нужных и полезных вещей, — если не прятались в каком-нибудь укромном тайнике или не оставлялись на зиму у соседей, непременно исчезали навсегда из поля нашего зрения и обретали новых, вероятно, более рачительных хозяев.

Лазили и при советской власти, но очень бережно, даже я бы сказал, стеснительно: выдернут стекло из рамы, поставят его, прислонив к стене, залезут и возьмут-то всего ничего, банку сгущенки или тушенки, оставленные до следующего приезда. Вставишь стекло на место, благо и штапик, которым стекло крепится к раме, валяется тут же под окном, да и забудешь. Но когда все-таки надоело возиться со стеклом, взял я металлические дюймовые трубы и перекрестил ими оконный проем, чтобы и подросток не мог проскользнуть. И стали мы смотреть на небо в клеточку, как арестанты какие-нибудь, распивая чай в долгие летние сумерки, но спокойствие дороже. «Теперь нас с окна не возьмешь», — думал я, торжествуя победу.

Но пришлось перефразировать поговорку: если вора не пускаешь в окно, то он лезет в дверь.

Замки я начал менять по нарастающей крепости, по тяжеловесности и прочности, благо пробой прежний хозяин сделал надежный, не каждому лому по плечу. Но возникла брешь и на этом фронте. Когда в очередной раз лихоимцу не удалось сорвать замок, он подломил пробой и выдрал из колоды шкворень, хотя тот был загнут изнутри. Видимо, крепко озлился гость мой ночной и неожиданный на то, что пришлось повозиться с несчастным пробоем. Собрал все, что пригодно еще было для жизни — и брюки и рубахи, и телогрейку, и женино бельишко, и чайник, и кастрюли, и вилки-ложки, и даже нитки с иголками, — завязал добро в два одеяла углами и удалился. Но было у меня такое ощущение, может, от чужого запаха дешевых духов, застывшего в избушке, когда я вошел в дом, — не один был грабитель, а с дамою своего сердца, и разнообразие прихваченного ассортимента наводило на мысль о радужных перспективах их совместной жизни с моим приданым. Может быть, они жизнь решили заново начать? Дай-то им Бог, как говорится, счастливой и долгой жизни!

Дерни за веревочку, дитя моё

Со временем я убедился, что навесной замок — сторож ненадежный. И придумал сооружение, которое на несколько лет обеспечило неприкосновенность моего жилища, особенно в бесснежную пору, когда не видно никаких следов, и прищелец, глядя на висящий, болтающийся на щеколде незашёлкнутый замок, может насторожиться и подумать, а вдруг кто-то в доме закрылся изнутри.

А устройство было следующего действия: в металлической накладке на торце двери я просверлил отверстие, и когда закрывал дверь, вдвигал в него с наружной стороны сеной скрытый в стене стальной штырь, отверстие в стене маскировал какой-нибудь старой почерневшей плашкой, чтоб не бросалась в глаза. Второй запор был проще первого, а чтобы совсем вас не утомить, напомним, как серый разбойник попал к бабушке: дерни за веревочку, дитя мое, дверь и откроется. Вот именно, устройство было таким, как в сказке, и на каждой калитке в русских деревнях: рычаг цеплялся внутри за выступ, а при помощи веревочки приподнимался снаружи через отверстие, на ночь веревочка убиралась внутрь от посторонних

глаз, а утром водворялась на место. Над дверью у меня было замаскировано кольцо, при помощи которого я веревочку и дергал. Она спасала меня в лихие девяностые, но в начале двадцать первого века, выражаясь по современно-уголовному, наступил «беспредел» и на нашей улице, носящей имя великого писателя Льва Толстого. Подросли дети перестройки, более пассионарные, чем предшествовавшие им, и если ранешние набеги можно было назвать грабежом, то теперь начались разбои.

Чем чаще приезжаешь на дачу зимой, тем реже случаются неожиданности. Лет пять назад я не смог ни разу съездить зимой и собрался только в начале марта, когда снег уже сошел, но в Култукке бывали зимы, когда снега вообще не бывало на нашем огороде, его выдувало. И уже подходя к ограде, увидел, что один пролет забора выломан, занавесок на окнах нет, а это значит, кто-то побывал внутри, да и дверь открыта настежь. За многие годы я десятки раз наблюдал подобную картину, посему смотрел на все спокойно. Робингуды не смогли расшифровать мои запоры, потому разобрали потолочное перекрытие над сенями, проникли внутрь, открыли мои секретные запоры, унесли всё, что понравилось, а остальное: вещи, одежду, постельное бельё, матрасы, книги, тарелки и прочую мелочь вперемешку с битым стеклом сбросили в подполье. А рукописи, письма, старые газеты с давними публикациями разбросали по двору, огороду, а култукский ветер, не прекращающийся ни зимой, ни летом, и бывающий ураганным, разметал, разнес все это на сотни метров вокруг.

Незваные гости собрали и унесли всё металлическое: бочки, которые мы ставили под стоки, собирая воду для полива, флягу, в которой я возил на тележке воду с водокачки, и саму тележку, и весь инструмент. Печь была разворочена, из нее выломали чугунную плиту, дверцы топки и поддувала. Из бани выволокли сварную печку, она была громоздкой, не проходила в дверь, тогда топором была разрублена дверная коробка. Печь я специально заказывал через знакомых на Шелеховском алюминиевом заводе, с нержавеющей баком для воды. Печь была тяжелой, и на земле остались борозды от волока, печью как тараном пробили в заборе брешь в улицу и снесли во «Вторчермет».

Я не стал вызывать милицию и звонить участковому, потому что уже пытался ранее добиться расследования. После очередного взлома я вызвал оперативную группу, написал заявление, они «обследовали место преступления», со скучным видом составили протокол, даже взяли уходя какие-то вещдоки, но у калитки один из них оглянулся и, не заметив меня, смотревшего им вслед из окна через тюлевую занавеску, швырнул бутылку с отпечатками пальцев распивших ее грабителей через забор, в соседний огород. С тех пор в каждом встречном сомнительного вида култучанине я стал подозревать грабителя. Глупо, конечно, но долго не мог избавиться от этой подозрительности.

Поселившись в Култукке, я построил баню из круглого леса, пристроил веранду к дому, соорудил над ней мансарду, хотелось привести в надлежащий вид и территорию: приносил из тайги кусты жимолости, рябины, посадил облепиху, смородину красную и черную, вишню и сливу, на голом склоне над домом поднялись березы и ивы, тополь-осокорь, саженцы клена и вяза привез из Иркутска, цвели по весне яблони и дикие груши. А после этого разбоя стало ясно: пора уезжать из этого поселка. Воевать бесполезно, этот легион непобедим.

* * *

Спустя почти сто лет после переворота 1917 года можно объективно посмотреть на историю и понять, что произошло, увидеть всю бездну падения человека,

всю очевидность его одичания. После перестройки девяностых годов прошлого века произошло еще и омелъчание человека, полное размывание традиционных нравственных основ. Представить масштабы воровства в нашей стране в бесчисленных садоводствах и дачных кооперативах невозможно, такой статистики нет, но можно прийти в ужас от простой мысли, что нет ни одного дома, ни одной квартиры, в которую хотя бы однажды не залезли воры и не унесли какую-нибудь вещь, пусть и копеечную, я думаю, что речь может идти об астрономических суммах ущерба, а те миллиарды или триллионы рублей, которые легли в карманы владельцев «вторчермета» и «цветмета», в прямом смысле вытащены из чужих карманов. Но дело не в суммах, и не в том, что вся наша современная государственная и предпринимательская системы замешаны круто на спекуляции и воровстве, а в том, что воровство перестало быть грехом, а стало неким видом особой доблести и сообразительности. Вот отчего можно прийти в отчаянье. И только правящий слой, отгороженный от простых людей каменными заборами, затемненными стеклами авто, камерами видеонаблюдения и охранниками, остается менее уязвимым. До поры до времени...

Я оставался последним из писателей-могикан, в этом замечательном углу с видом на Байкал, на нависающие за ним хребты Хамар-Дабана, то белеющие своими снежными вершинами, то синеющие, голубеющие, чернеющие, зеленеющие в недолгие летние месяцы. Други мои покидали Култук, объединивший нас пусть не на долгое, но на золотое время нашей зрелости, уходили в разное время и в разные стороны. Однажды утром нашли мертвым нашего «крестного» Михаила Просекина в его култукском доме, вокруг были разбросаны таблетки, но, видимо, не оказалось в период приступа под рукой той единственной, необходимой, спасительной. Сердце остановилось.

В онкологическом лазарете, в холодном безжизненном коридоре — не нашлось для него места в палате — в страданиях встретил последний час свой на земле поэт Божьей милостью, «всех живущих пожизненный друг» Ростислав Владимирович Филиппов.

Продал свой дом Анатолий Байборodin какому-то прижимистому местному «предпринимателю», но всех денег так и не выходил, и переселился поближе к городу в дачный кооператив, построил там баню, и всё обещает как-нибудь позвать попариться, но предупреждает, прежде придется дров заготовить в ближайшем лесу, такая у него традиция.

Разъехались в разные стороны Михаил Трофимов и Валентина Сидоренко, после того как култукские «терминаторы» подожгли их избушку, и не успели огнеборцы доехать до Лесной улицы, находящейся в пяти минутах езды от пожарки, — занялась она высоким ясным светом и рассыпались в прах ее жалкие останки.

Мудро говорил Валентин Григорьевич Распутин: «Приезжаешь на дачу, смотришь, стоит домик, не сожгли и то хорошо». Успокоительнее не скажешь. Этим иногда после очередного разбоя утешаешься. Но подожгли дачу и у Распутина в Порту Байкал, не стал он после этого жить в обгоревшем доме.

Сожгли дом Ростислава Филиппова в конце 2012 года. На пепелище чернеют несколько обугленных брёвен оклада да валяются разлетевшиеся от огня куски серого закопченного шифера. Вот и вся память в Култуке о большом русском поэте.

Стал погорельцем и недолго проживший в Култуке Владимир Лапин, живописец своеобразный и звонкий.

Народная песня

*Горит село моё родное,
Горит вся родина моя...*

Есть одна великая народная сибирская песня: «На нас напали злые чехи». Считается, что она из времён Гражданской войны, но мне думается, более древняя, приспособленная под событие конкретное, убери чехов, поставь немцев или кого угодно, мало ли кто еще любил ходить к нам в незваные гости. И тем она велика, что живет независимо от исходного сюжета, не важно, когда написана и кем, важно, что трагедия в песне, выраженная простыми и точными словами, созвучна любому времени. Любима она русским человеком еще и потому, что вся Россия народная была до недавних времен деревянной, деревенской, и архитектура ее была насколько изящной настолько и хрупкой, и беззащитной перед огнём. Я даже смею предположить, что великая песня другой войны: «Враги сожгли родную хату» — родом из нашей, сибирской, Исаковский не мог не слышать её. Когда наши избы жгут враги, есть в этом варварстве пусть слабый, но оправдательный или утешительный момент, а кто сегодняшние поджигатели? Наши соседи, наши соотечественники. Сами себя сжигаем.

Удивительное дело, смотришь какой-нибудь фильм о какой-нибудь европейской стране, показывают пустыющие годами, а то и десятилетиями дома. И никому они не нужны, никто в них не проникает, а тем более не разоряет, не уничтожает. А мы другие. Стоит оставить на год — полтора дом без призора, и снимут шифер, окна, двери вынесут, полы разберут, а потом, глядишь, и стены раскатают до фундамента. Так дачу Реутских раскатали по брёвнышку, когда он болел, и родственники не могли наведываться в Култук.

* * *

Несчастные воришки относились к нашему пришествию примерно как к НЛО: прилетел — улетел. А то, что во дворе лежит, вроде как инопланетяне специально оставили, в подарок, можно сегодня подобрать и унести, можно завтра, а то, что вырастает на огороде, тоже никому не принадлежит. Можно среди бела дня, приезжая из Иркутска, кого угодно встретить во дворе, начиная от детей и кончая каким-нибудь забубенным наркоманом.

Сижу вечером в избушке, слышу какой-то ослиный крик. Вроде бы ослы в данной местности не водятся, но чем чёрт не шутит, дай, думаю, выйду, посмотрю на заморскую скотину; выхожу и вижу, как тройка дюжих молодцов отдирает от моего забора доски, а гвозди заржавелые, продираясь сквозь древесную ткань, рождают этот ишачий звук. Забегаю в дом, чтобы взять что-нибудь поувесистей для аргументации, ничего подходящего для случая данного нет, во дворе вижу кедровый посох — из тайги притащил, очень уж ручка была закручена причудливо. Хватаю — и в гору, в том направлении, куда парни удалились. А они расположились в ложбинке на горوشке, костёрок развели, мои доски ногами мнут — ломают, над костром бидончик трёхлитровый эмалированный висит, какое-то зелье собираются варить. Я, естественно, озлился, ничего не мог придумать, как наставить на них палку, взяв её наизготовку, как ружьё, и закричать:

— Всем стоять! Ни с места...

Но то ли эффект неожиданности сработал, то ли натиск мой был внушитель-

ным и неотразимым, то ли в голосе моём было достаточно решительности, но они, даже не рассмотрев толком, что за вещь у меня в руках, прыснули вниз по склону. Без оглядки один забор перелетели, потом второй, там собака им жару добавила, и только внизу, на дороге остановились. Видимо, посчитали, что дальность полёта пули из моего «ружья» ограничивается этим расстоянием.

— Дурак ты, Вася, — сказала жена, когда я поведал ей эту историю, встретив её с вечерней электричкой, — а если бы они не побежали, что бы ты с тремя бугагами делал? Или они с тобой...

«Да, оно конечно», как говаривал в неопределённых ситуациях Ростислав Филиппов, но обидно до злости и глупости, когда на твоё, хоть и ветхое, имущество посягают. Доски оставшиеся я принёс обратно, прибил на место, поломанные сжег в печи.

А вскоре после этого проволокой по верху восьмёркой оплёл я весь забор. До сих пор стоит. Просто я понял, заборы в Култuke крепкие надо делать, некоторые култучане хилых заборов не терпят, они их раздражают. А еще лучше вовсе заборов не иметь, как у моего соседа Петьки-цыгана.

Это кстати, тоже интересная история, хотя в Култuke что не история, то наособицу.

* * *

В усадьбе слева в засыпном домишке несколько лет жил цыган Петька с женой Оксаной. Она была бабенкой со странностями и иногда, как теперь говорят, «доставала» Петьку. Он спасался от нее на чердаке, слуховой проём смотрел в нашу сторону, и я видел, как Петька, согбенно устроившись под крышей, обозревал пространство в ожидании спектакля. А сцена была одна и та же, Оксана начинала звать его:

— Петя, Петя, вернись, ну почему ты не идешь, я тебя люблю, зачем ты меня бросил...

Она обходила избушку вокруг, смотрела на гору и звала еще громче, предполагая, что он убежал в лес, затем начинала подниматься по склону, но склон был крутой, высоко она забраться не могла и вскоре сползала вниз. Петька сидел под крышей на виду, улыбаясь в предвкушении финала. Оксана замечала его, ругалась незлобиво, бросала в него камнем или каким-нибудь подвернувшимся под руку мусором и они, обнявшись, уходили в дом.

Весной Петька начинал городить огород, прибывал к столбам осиновые прожилыны, добытые на горе и стянутые вниз на веревке. Тонким горбылем загораживал не плотно, лишь бы не могла пройти корова. Вскapывал две-три грядки под мелочь и вспахивал четверть огорода наемным плугом под картошку. Погода в Култuke чаще засушливая, растительность бывала чахлой и иногда засыхала раньше, чем подходило время урожая. Но главное было не это. За зиму он сжигал новоприобретенный забор, просохший за лето, используя «макаронник» на растопку печи, отрывая по нужде необходимое количество реек, а уголь таскал ночами от кочегарки «Автовнештранса». И не он один пользовался щедростью советской бесхозности, о чем можно было судить по широким черным полосам угольной пыли, остающейся от протянутых волоком мешков с ворованным углем, никто на это не обращал внимания. Правда, надо сказать все же к чести сторожей, что иногда проломы в заборах забивались, но через некоторое время появлялись вновь в

том же самом месте или рядом: печки надо было топить даже тогда, когда топить было нечем, а возле кочегарки уголь не выводился.

* * *

Зима на Байкале долгая, но и зима закончилась. Накануне Дня Победы ночью был ураганный ветер, стучали ставни, гремели жестью водосточные желоба, а утром я открыл дверь — в глаза ударило слепящее солнце, и Байкал, еще вчера лежавший под серой коркой рыхлого льда, сиял своей пронзительной синевой.

Для всех начиналась пора огородных работ — и для моего соседа Петра. С топором в руке и веревкой на плече он поднимался в гору, чтобы там выбрать прогонистые осиновые прожилыны, спустить вниз и начать снова восстанавливать порушенный за зиму заплот. И так длилось несколько лет, пока однажды двое смурного и молчаливого вида мужиков не выкопали, как только оттаяла земля, петькины столбы, говорили, что за некоторое денежное вознаграждение, и не перенесли их в другое место. Для них, возможно, тоже начинался ожиданиями и надеждой огородный сезон. Для Петьки он уже не повторится никогда. Зимой нелепо оборвалась жизнь Оксаны, оставившей ему красивую дочь и незалечиваемую душевную рану. Он перешел жить к отцу с матерью, а избушка стоит, разрушаясь и ветшая, напоминая мне о прежних ее обитателях.

По фамилии Кобрин

До Петьки в этом домике жил человек по прозвищу Кобра, у него фамилия была редкая — Кобрин, произошедшая, вероятно, в давние времена от прозвища непростого по нраву предка и ныне естественно припечатавшегося к нему. Он отсидел приличный срок за убийство, как свидетельствовала молва. Мужик был сухой, подвижный как шарнир, передвигался на полусогнутых ногах, готовый, казалось, в любую минуту услужить. И знакомство мое с ним было занимательным.

Я приехал в Култук в начале мая, чтобы «поймать» трактор для вспашки огорода. Это событие в те годы было непростым. Я начал подниматься от тракта к калитке, когда мне наперерез от соседнего дома резко двинулся человек, было ощущение, что он меня ждал с вечера и так был рад мне, что забыл поздороваться и сходу спросил:

— Тебе картошка нужна для посадки, мешок, давай двадцать рублей. Щас принесу.

Картошка была нужна, тем более от соседа, да еще сам обещает принести. Я отсчитал деньги. И не придал значения, что он пошел не к себе в ограду, а стал спускаться вниз, туда, где находился магазин. Да может быть у него картошка в другом месте, да мало ли что... Главной моей заботой была вспашка, я соображал, где бы поймать трактор.

Пахал обычно трактор «Автовнештранса» по предварительной записи вначале своим работникам, потом остальным, еще один трактор приходил с Быстрой. Иногда какой-нибудь залетный житель из Тункинской долины присоединялся для помощи нуждающимся, но с ними связываться было опасно для огорода, в чем я убедился однажды, тщетно пытаясь поймать местный трактор, а сроки посадки уже выходили. Улыбающийся и довольный от изрядно выпитого, тункинский жи-

тель не въехал, а влетел на мое поле, и пока я доставал из укромного места припрятанную на этот случай бутылку «андропок», выкупленную на талоны, а другой валюты пахари не признавали ввиду дефицита, он успел поднять глину с почти метровой глубины, похоронив навеки плодоносный слой. В финале он выпал из трактора и уснул бы в прохладной глубокой борозде, которую сам и сочинил, если бы мы не водрузили его в кабину. Товарищ его сам сел за штурвал боевой машины и попылился дальше продолжать битву за урожай поселковых жителей.

Утром я вспомнил про Кобрин. Он не появлялся. На следующий день мелькнул за забором, и я пошел к нему и едва успел, он уже хотел юркнуть из калитки.

— Слушай, мне сейчас некогда, тороплюсь, вечером нагрёбу, жена уйдет на дежурство, я тебя крикну.

Тут-то и стало ясно, что реализация картофеля происходила без согласования с начальством. Но крикнул он меня только утром, а если быть точным, не крикнул, а высунулся из-за забора, а когда я посмотрел в его сторону, махнул рукой, мол, иди сюда. Он и потом всегда таким манером меня звал.

— Айда, я нагрёбу, а ты из подполья поможешь ведра поднять.

Ташить мешок мне пришлось самому.

Как Кобрин на бабе пахал

Как-то высунулся из-за забора, машет рукой. «Чего надо?» — кричу. Вместо ответа, головой и глазами показывает в сторону огорода. Надо идти, сосед все же. Да и старше меня. А он своей мелкой трусцой уже гарцует в дальний угол.

— Смотри, я какую технику соорудил.

На меже лежал агрегат с основой из велосипедной рамы. Там, где крепится обычно заднее колесо, был приварен развал наподобие двойного плуга, в верхней части рамы прикреплена перекладина, от неё шли ремни из транспортерной ленты, руль оставался на месте, но теперь он оказывался сзади, и как я увидел далее, им управлялся весь этот механизм.

— Впрягайся? — это он своей сожительнице Ольге, стоявшей рядом и как-то виновато, как мне показалось, смотревшей на меня.

Она взялась за лямки, накинула их на плечи, Кобрин поставил агрегат между картофельными рядами:

— Пошла!

Я не ожидал от хрупкой и в общем-то немолодой уже женщины такой силы, она двигалась вперед, таскала вверх по склону эту чудную железяку, а Кобрин шел следом, направляя велосипедным рулем плуг по центру, земля разваливалась на две стороны, загребая кусты, как это обычно делается тяпкой, а тут...

— Механизация ручного труда, — Кобрин довольно осклабился. — Можешь и себе такую сделать.

— Сделать-то несложно, да вот, где я женщину такую возьму, городские против ваших не потянут.

— Может, теперь ты попробуешь?

— Да, знаешь, как-то неудобно на чужой жене-то пахать.

На том, как сейчас говорят, презентация закончилась.

Я подумал, что он решил только мне продемонстрировать, когда велел бабе впрягаться, все же работа тяжелая, сам, думаю, встанет в тягло, но ошибся. До

самого вечера, пока не окучили весь огород, Кобрин ходил за женой, понукая и подтрунивая.

Рокер хренов

В какой-то из годов — забыл, когда это было, да и смысла вспоминать нет: важен сам случай, а не время происшествия — Кобрин, как говорили в Култукке, «заделался рокером», стал крутить на добытом где-то проигрывателе «Аккорд» грампластинки и рентгеновские пленки. Конечно же, в этом ничего криминального нет, крути хоть ночами напролет, у себя в избе. Но наш рокер выставлял выносную колонку на навес над крыльцом и направлял в сторону моего огорода, с утра до вечера он ставил периодически одни и те же пластинки, и однажды мое терпение лопнуло. Я перелез через забор, снял громкоговоритель с гвоздя, зашел к нему в избушку, положил на стол:

— Слушай, рокер хренов, мне надоело слушать с утра до вечера эту дребедень, если тебе нравится, слушай у себя дома, — и направился на выход, краем глаза все-таки отслеживая ситуацию.

Перед забором я оглянулся, Кобрин с топором в руке выскочил из двери:

— Ах ты, сука, я тебе сейчас голову отрублю...

— Охолопись, Кобрин, — птицей перелетев забор, увещевал я его. — Дурак что ли?

Матерясь, он ушел к себе в избушку. В этот раз он оказался вменяемым. Больше его музыки я не слышал и тихо торжествовал по поводу бескровной победы. Но напрасно. И недолго.

Почти межевая война

Вдоль забора, разделявшего нас с Кобриним, я посадил кусты какой-то знаменитой смородины, все дачники её ценили особо. Приезжаю в очередной раз в Култук, захожу на участок, смотрю в сторону кобринского огорода и ничего не могу понять: забор стал наполовину ниже и придвинулся, а точнее сказать вдвинулся, вторгся клином на мою территорию метров на пять, а кусты смородины, вырванные с корнем из посадочных мест, валяются поникшие листвою. Кобрин с Ольгой сажает картошку. Дело в том, что в избушке кобринской периодически жил Володька, Ольгин сын, а когда он отсутствовал, то там обитался Кобрин, а в основном он жил в доме Ольги. На её огороде они картошку и сажали. Я взял план своего участка и пошел разбираться.

— Ну что же ты, наглец, утворил-то, тебе что, своего поля мало, ты на мое залез.

— Какое твое? Какое твое? — он не находил, что ответить, — это бабка, которая до тебя жила, оттяпала мой участок, а я только выправил забор, да и все.

— Чего ты выправил? Неси план участка. Смотри сюда, — я раскрыл домовую книгу, — видишь, участок мой — прямоугольник правильный, а ты из него параллелепипед образовал. Иди за планом...

— Да пошел ты сам, куда знаешь... Ты в гору забор на пять метров перенес, я тебе ниче не говорил, и никому не говорил, и кому надо не говорил, а могу и сказать...

Но это начинался шантаж. Я действительно убрал зигзагообразный, клонящийся в разные стороны забор, и сдвинул вверх. Но там хоть до Иркутска пригораживай, хозяев нет — одна тайга, и мои соседи справа отгородили от горы себе приличные утуги, и никому до этого дела нет. А вот Кобрин не смог вынести моего самоуправства, хотя я его никак не ущемлял. Соседи, они понятно, свои, култукские, свои, поселковые, а я чужак городской.

Поорали мы, поорали друг на друга, довольные своей правотой, и я пошел к себе, а Кобрин остался досаживать огород.

Недолго пожил в избушке сын Ольги, Володька. Ушел однажды в тайгу и пропал бесследно. Уехал в Иркутск в конце лихих девяностых Кобрин, и по слухам, зарезали его старинные рабочедомские друганы в худом бараке на окраине Иркутска, где жили такие же бедовые и бесприютные обитатели трущоб. Съехал Петька после смерти своей жены с малолетней Галиной, дочкой своей, а засыпная избушка все еще стоит, с заколоченными дверью и окнами, привлекая наркоманов да детей, любящих собираться на всякого рода развалинах, находя в них таинственное пристанище своим играм.

А новый забор, который я недавно воздвиг вместо прежнего, пришедшего в окончательную поруху, я провел по той самой черте, которую когда-то определил своей нахальной рукой веселый култукский житель Кобрин, хотя никто мне не мешал восстановить утраченное.

О вспашке

Один мужик в Култуке пахал на конной тяге, но это был «аристократ» с заведомо сложившейся клиентурой, и подступиться к нему у меня не было возможности.

Здесь должен заметить, в весеннюю страду не было в поселке фигуры более значимой, чем тракторист, приладивший к своему трактору плуг. Даже буйные и драчливые мужики, без матерного слова не представляющие русской речи, приближаясь к трактористу, делались ниже ростом, и почти шепотом, с заискивающей интонацией начинали разговор. Обычно за трактором, тархтевшим по улице, составлялся эскорт из автомобилей, мотоциклов, велосипедов, пеших граждан, количеством не только не уступающий президентскому, но часто превосходящий. Да и сам тракторист, возвышенный окружением, приосанивался, обретал начальственный голос и презрительный взгляд, и не всякий просящий удостоивался его ответа, на иного он мог только посмотреть, смерить взглядом, выдержать паузу и отвернуться, выказывая крайнюю степень своего могущества.

Наезжал в Култук тракторист из Быстрой, небольшого росточка и объема, рыжебородый Петруха. Пахал он хорошо, молва точнее всего определяет уровень мастерства, но был за ним некоторый широко распространенный в народе грех... В очередной день он не выехал на пахотные работы к всеобщему недоумению, а появился вскоре в сопровождении жены, восседавшей рядом. Теперь народ общался только с ней, она устанавливала очередь, решала, на чей огород заезжать, в какой валюте вести расчеты, в стеклянной или деревянной, то есть в рублях, а Петруха тихо курил в стороне, как будто не имел к этому никакого отношения, вспоминая свое бывшее величие и непреклонность.

Сейчас можно вызвать тракториста по телефону, объявления расклеены на людных местах у магазинов, на остановках, но я вспоминаю прежнее время тепло

и радостно. И кто знает, может быть именно сейчас Петруха в хорошей компании быстринских мужиков вспоминает в очередной раз, как култукские жители на руках его готовы были носить. И ведь не врет... И пронесли бы, если бы попросил, но, естественно, за внеочередную вспашку.

Классик и брусника

Однажды к Просекину приехал Геннадий Машкин, автор знаменитой повести «Синее море, белый пароход». Повесть о дружбе русских и японских детей на Сахалине была переведена на японский и другие языки, поставлен фильм. Она была включена в школьную программу для внеклассного чтения. За Геннадием Николаевичем прочно закрепилось прозвище «классик».

Приехал с портфелем. Михаил удивился: зачем портфель? Они собирались идти за брусникой, и лучшей ёмкостью для её переноски является, конечно, горбовик, его носили за спиной, т.е. «на горбе», как рюкзак. Брали с собой для удобства обязательно и котелок, в который вначале собирали бруснику, а потом ссыпали в горбовик; в недалёкие места ходили с ведром, но нести ведро по тайге, по кочкарнику и колдобинам неудобно, можно рассыпать ягоду, что нередко и случалось.

Но ни ведра, ни рюкзака у Геннадия Николаевича не было. Он так и пошёл за брусникой с портфелем. Он был геологом, провёл в тайге не один сезон, исходил по тайгам не одну сотню километров, а вот, как сугубо городской житель, интеллигент, таких деталей промысловой жизни не знал.

И ещё Миша рассказывал, что Геннадий Николаевич брал с собой катушечные нитки и разматывал их, развешивая на кусты, чтобы не заблудиться на обратном пути, но это, я думаю, байка, для усиления истории с портфелем. Писатели любят придумывать друг о друге весёлые истории, не зря их со времён Пушкина называли сочинителями.

Да и портфеля-то, может быть, никакого и не было.

* * *

С Михаилом в его избе пьем чай со смородиновым листом. Накануне у него проездом останавливался Валентин Распутин с Альбертом Гурулевым, возвращались из Тункинской долины. Ездили туда за ягодой. Утром Михаил обнаружил пластмассовый футляр для куриных яиц, в то время у нас в магазинах такой упаковки не водилось, а Валентин привез откуда-то из-за границы. Когда сидели накануне за столом, Миша повертел в руках заморскую штуковину, очень, говорит, удобная вещь в тайгу брать яйца, не разобьются, не раздавятся. Особенно если всмятку.

Миша подумал, что Валентин утром за сборами забыл футляр, а потом понял, что он ему оставил, но не хотел об этом говорить, как умеют некоторые, нахваливая какую-нибудь безделушку, придать весу ничего не стоящему предмету, выказывая этим излишнюю щедрость свою. Ну что скажешь, умеют они это. Валентин Григорьевич держался других правил.

По лицу было заметно, Миша гордился, когда рассказывал мне об этом.

Медная лихорадка

У тулунского писателя Николая Капитоновича Зарубина есть сын Миша. Когда началась «медная лихорадка», он поискал в доме, что можно снести в приемный пункт, но ничего кроме медного жала отцовского паяльника не нашел. Он взял ножовку по металлу и отпил стержень по самый нагревательный элемент. Отец сообразил что-то паять и обнаружил ущерб.

— Ты зачем паяльник испортил?

— Ну как зачем? Все же сдают, и я хотел хоть что-нибудь получить!

— Ну и сколько тебе за него дали?

— Целый рубль!

— И что ты на него купил?

— А на рубль сегодня ничего не купишь.

— А где тот рубль-то?

— А я его потерял.

И козе понятно

Однажды прихожу к бабушке моей жены Марии Степановне. На подоконнике над столом вижу двое часов, одни старые механические заводные, другие современные на батарее, часы исправны, идут, но показывают время с разницей в один час.

Стараюсь сообразить, к чему такая сложность. Прикидываю: на один час у нас разница с Читой и Красноярском, но при чём здесь эти города, Пекин тоже не при чем. Не нахожу ответа. Ничего путного в голову не приходит.

— Мария Степановна, а почему у вас часы разное время показывают, и зачем вам два будильника?

— А, — улыбается и машет на меня рукой, как отмахивается от мухи, — наш главный в стране начальник шибко умный, время передвинул с летнего на зимнее, говорит, что полезно для всей страны, мне, правда, вставить тяжелей стало утрами, да ладно. Вот только козе Маньке объяснить ничего не могу, она, как жила по своему природному времени, так и живет. А я чтоб не запутываться, на голову-то слаба стала, и купила для нее часы. Вон те зеленые. И завожу на утро, чтоб не проспать, когда её кормить нужно. Вовремя не покормишь, молока меньше даст. А как по всей-то стране коровы и козы привыкают, сколько молока теряют. О людях-то не говорю, кто у нас о них думает. У нас в стране теперь, что ни правитель, то — вредитель. И то, что козе понятно, президенту — нет. Давай я тебе лучше чаю с молочком налью...

Премьер-министр Медведев отменил решение правительства о переходе на зимнее время.

Спаниель Том

С детства у нас в доме жили собаки. На Оловоруднике у нас был деревянный дом при огороде, обязательно была какая-нибудь собака на цепи, как и у всех. Одно время обзавелись восточно-европейской овчаркой. Когда после армейской

службы я поселился под Иркутском, на выселках, во дворе постоянно жили и беспородные дворняжки, долго жила сука Тайга, помесь овчарки и лайки, которую я безуспешно пытался приспособить к охоте. Несколько лет жил ирландский сеттер.

Когда поселились в Култук, у нас был спаниель, прозванный ТОМом, что расшифровывалось как «Творческое объединение молодых». Жена Тамара шутила:

— Мужу хорошо, у него есть Том и Томка, крикнет: «Том, Том!..», кто-нибудь да откликнется.

Он достался нам случайно от моей сестры. Я взял щенка, чтобы поддержать у себя, пока лежала в больнице, но мы привыкли к нему, и он остался у нас. Несколько дней сын Сашка светился от радостных чувств, носил его на руках, выводел на прогулку, но скоро, избыв всю нежность к животине, охладел. А я привык к нему, как привыкал ко всякой собаке, жившей рядом, как и они привыкали ко мне. С Томом я исходил не одну сотню километров по тайге, бывал и в верховьях Лены, сплавлился с ним по опасным порогам Иркутта. Спаниели — интеллектуальные псы, и Том улавливал малейшее моё движение и выполнял команды, показываемые жестами. Иногда возникало ощущение, что он действует не только инстинктивно, но и разумно, всё понимает, вот только говорить не умеет.

Приехали вечерней электричкой в Култук. Дошли до нашего домика, поужинали. Стали укладываться спать. Рядом с моей лежанкой стоял сундук, на нём лежал матрасик, на котором и было собачье место. Обычно, он понимал, что мы начинаем готовиться ко сну, запрыгивал на сундук и засыпал раньше нас.

А тут с разбега распахнул лапами дверь в сени, воет, просится наружу. Ну, думаю, раз нужда, иди. А он сразу же возвращается, скребёт дверь лапой. Впускаю, он на меня смотрит, обрубком хвоста крутит и подвывает.

— Ты что? — спрашиваю.

Он пулей на выход. Бежит к воротам, оглядывается, иду ли за ним. Подхожу и вижу, что забыл закрыть. Щёлкает щеколда, пес поворачивается и бежит к дому. Укладывается на подстилку и затихает.

Мы с женой переглянулись с недоумением:

— Хозяин.

Вспоминая этот случай, понимаешь, как плохо мы знаем наших домашних питомцев, которые подчас оказываются более памятьливыми и наблюдательными, чем мы.

И ещё случай с Томом... В городской квартире утром пьём чай. Сын, чья обязанность выводить собаку утром, не обращает внимания на поскуливающего и бегающего от двери в кухню и обратно Тома.

— Саша, выведи собаку, — просит Тамара.

— Сейчас, чай допью.

Я посмотрел на несчастную псину и, не знаю зачем, спросил:

— Том, ну чего тебе надо?

И наш спаниель, к нашему изумлению, поднимает правую заднюю ногу на стену и на трёх оставшихся пропрыгивает вдоль стены от кухни до коридора, поворачивает голову и умоляюще смотрит на нас. Пусть теперь учёные всего мира доказывают мне, что у собаки нет разума.

Вспоминаю ещё одну интеллектуальную собаку.

Я работал сторожем-дворником на острове Юность. Дежурил, как было принято, сутки через трое. При сторожке прижилась собачонка, под крыльцом облюбовала себе жилище. Звонким голосом оповещала сторожей о посторонних, а зимой жила в избушке, какая-никакая, а всё же живая душа.

Однажды весной, когда снег уже растаял и разошёлся лёд в заливе, я спустился с обрыва к воде и ловил сорожек, коротая время.

За спиной залаяла Тучка. Я посмотрел вверх и увидел над обрывом её голову, которая тут же исчезла. Рыбачу дальше. Снова лай. Оглядываюсь. Она видит, что я посмотрел в её сторону, её голова снова исчезает. И тут я понял, что она меня зовёт. Или догадался, или она мне на телепатическом уровне послала мысль, но я положил удилище, поднялся вверх от воды и последовал за ней. Она весело бежала впереди, иногда оглядываясь: иду ли я следом. И уже на подходе увидел, что на скамейке сидит мой приятель и дожидается меня. А Тучка, как ни в чём не бывало, разлеглась на солнцепёке греться.

— Ты её, что ли попросил меня позвать? — не зная, что и думать, спросил я.

— Да я вообще с ней не разговаривал, — недоумевая и видимо предполагая подвох, сказал приятель, — она тут лежала, когда я пришёл, потом куда-то исчезла, смотрю, бежит впереди тебя.

— Выходит, она меня позвала, я же не знал, что ты придёшь.

— Вот и думай теперь про собак что хочешь, — как-то неуверенно сказал приятель.

* * *

А ещё наш Том любил кататься на велосипеде.

Я замечал, что все собаки равнодушны к автомобилям. Как только начинаются сборы перед поездкой, складываются вещи, рассаживаются пассажиры, они нетерпеливо мечутся, прыгают в салон и т.д. Если кто-то к нам на дачу приезжал на автомобиле, и мы собирались за ягодой или за грибами или просто на Байкал, он непременно запрыгивал мне на колени и нетерпеливо и внимательно вглядывался в ветровое стекло и на происходящее за ним. То же самое с ним происходило, когда я отправлялся куда-нибудь на велосипеде. Я сделал специальную седелку из дерева, закрепил её на раме перед рулём, ставил пса на неё задними ногами, передние он клал на руль и так мог продержаться не один километр, гордо восседая впереди меня, потешая встречных водителей авто и мотоциклистов.

Он дожил до глубокой собачьей старости, оглох и почти ослеп, но однажды осенью увязался за собачьей свадьбой и не вернулся. Я объездил на велосипеде все култукские улицы, но его так и не нашёл.

Елена Лукична

В единственном доме, соседствовавшем с нами, жила Елена Лукична Андриевская. Родилась она в деревне Болото Качугского района, недалеко от села Бирюлька. А так как у меня в Бирюльке жил когда-то брат мой Георгий, а жена его работала страховым агентом и объезжала окрестные деревни, знала местных жителей, то Елена Лукична просила меня иногда узнать через Валентину о том или другом земляке или родственнике, я, бывая там, иногда привозил ей письменную весточку. На этом мы и сошлись ближе, чем с другими соседями. Пока я не срубил себе баню, мы ходили мыться к ней, на зиму оставляли у нее какие-то вещи на сохранение, жена, когда я вынужден был отлучаться в город, ночевала у неё, так как боялась оставаться в нашей окраинной избушке одна.

Характера Елена Лукична была строгого, матерное словцо могло сорваться с губ естественно и знакомо к месту и вообще, но с ней всегда можно было договориться по любому соседскому недоразумению. У нее постоянно болели ноги, она привязывала к коленям различные мази, листья лопуха, и Бог весть что еще, чтобы ослабить боль, не дававшую покоя ни днем ни ночью. В деревне, рано оставшись без отца, она с пяти лет зимой ходила со старшим братом ставить петли на зайцев, в худой одежке, в ношенных до нее не одним поколением чирках. И не с тех ли самых пор вкрался ревматизм в суставы, до конца жизни не дававший ей покоя. И сколько помню её, всегда локти и колени в непогоду были обмотаны шерстяным тряпьем.

Она была из поколения наших родителей, появившихся на свет в революционное лихо, и вся тяжесть непосильного бремени до срока пригнула их к земле. Жили впроголодь, и было их спасение в той картошке, которую с детских лет надо было сажать и полоть и огребать, и копать, и таскать неподъемные ведра — только в ней, в картошке была жизнь всего народа. Убери картошку, и останется из еды одна земля, черная, грязная, сырая, но нет от нее насыщения. А всё, что из нее: всякий сорный корень, дикий лук, саранка или кустик с ягодой, медвежья дудка да крапива-лебеда смягчали голод, давали выжившим возможность зацепиться за жизнь, за этот хрупкий стебелек посреди холода и отчуждения. Короче заячьего хвоста сибирское лето. Не успеешь отогреться после вечной зимы, и снова сковывает землю, и снова кажется, что нет и не будет тепла, и свыкаешься с этим состоянием неуюта и стылости.

* * *

Елена Лукична держала кур, которых вырастила из купленных в городе цыплят. И был в этом выводке один молодой отчаянный кочеток, который почти всякий день попадал в неприятности: то к собачьей конуре подойдет на непочтительно близкое расстояние так, что Трезору ничего не остается как цапнуть наглеца, чтоб неповадно было в дальнейшем.

Но и на хромой лапке он умудрялся найти брешь в заборе и, забравшись в соседский огород, разгрести только что засаженные грядки.

— Зашибу, негодник, ирод проклятый, — шумела Елена Лукична после жалоб соседки бабы Ани, хватала свой посошок и гнала несчастного в сарай, из которого он через несколько мгновений устремлялся к новым похождениям. Невезучий какой-то, действительно, был петушок. И люди бывают такие же невезучие. Есть у меня один хороший знакомый, Саша К. Бывало зимой поедет на охоту с командой гонять коз. Казалось бы зима, мороз, вся земля на два метра промерзла, но ведь обязательно найдет какую-нибудь болотинку и обязательно провалится в стылую воду, а когда начнет сушить свою одежду у костра, переодевшись в подвернувшуюся чуженину, найденную в будке, то непременно сожжет брюки или куртку, а иногда и то и другое.

По лету окучиваю картошку, и слышу за спиной Елену Лукичну:

— Ты что это надумал, ирод проклятый?!

Оборачиваюсь. Над ее огородом огромный коршун с размахом крыльев метра полтора, спокойно планируя в сторону Петькиного огорода, несет в когтях несчастного кочета. Тот, бедный, свесил головушку набок и вытянул ноги свои, которые показались мне продолжением ястребиных. Это ж надо, среди бела дня на наших глазах нагло уносит хищная птица домашнюю живность, а в доме и за-

валящего дробовика нет. Но был лук, который я сделал для детишек, он оказался упругим, иногда и приехавшие взрослые устраивали турнир в стрельбе по мишеням. Я проследил, куда сел коршун, завел стрелу на тетиву и стал скрадывать его. Вижу, стервятник вдавил цепкими когтями петушка в траву и долбил его в затылок, выщипывая перья, добираясь до черепушки. Я натянул лук, прицелился и пустил стрелу. Но лучник я был неважный, и стрела прошла под петушком, благо не задела его, но на вылете, видимо, шоркнула оперением и коршуна. Тот ослабил хватку, кочеток вырвался, жалобно вереща, кинулся в мою сторону. Коршун попытался схватить его, но, увидев меня, взмыл в сторону и неторопливо стал удаляться. В это время подошла Елена Лукична, взяла бедолагу на руки:

— Ну что, допрыгался, голенастый? — не было во взгляде и голосе ее ни злости, ни осуждения, а только жаль одна. — Спасибо тебе, Василий, а то слопал бы ирод проклятый нашего петушка.

Через неделю или две затих его задиристый крик, а что с ним случилось, я по давности дней запамятовал.

* * *

Приходит как-то утром ко мне в избушку Елена Лукична и вопрошает прямо с порога, — видимо, вопрос назрел:

— Слушай, Василий, что это может быть, лист на смородине скур...лся и в ём полно бухар?

Сказано было заковыристо, но живописно, и я сразу представил себе знакомую картину:

— Да это тля, Елена Лукична, — блеснул своими садовничьими познаниями, — муравьи её разводят на ветках, а потом доят, как коров, чем и бывают сыты. Вы разведите хозяйственное мыло и пеной обработайте кусты — и оживёт ваша смородина.

* * *

На берегу речушки Тигунчихи, что течет поперек Култука вдоль забора «Автнештранса», чуть ниже моста лежали два металлических уголка, метров по шесть длины. Было это еще до железной лихорадки, когда валялось на наших просторах бесчисленное множество: брошенные трактора и комбайны, всякие сельскохозяйственные машины и приспособления, различная арматура и просто изделия из металла, можно было по нужности в хозяйстве выбрать любую железяку и приспособить для пользы домашнего хозяйства: все вокруг колхозное, всё вокруг моё.

Городил я новый забор, и когда дошел до калитки, вспомнил про бесхозный уголок, а так как уже примеривался к нему и даже пробовал на вес, то знал, что целиком его не унести, а посему взял ножовку по металлу и позвал шурина своего пособить. Хотелось сделать надежную калитку, чтобы стояла она долго, чтоб вспоминали и внуки и правнуки, гордились, какой дед был основательный человек по части калиток.

Пилим попеременно с шуриком никому не нужный уголок, а металл оказался твердым, шик-шик, шик-шик. Торопиться некуда, отдохнем и снова: шик-шик. Вдруг рыжий мужичок в армейском бушлате по мосточку перешел с того берега по перекинутой плахе и к нам:

— Вы чего тут мой уголок пилите?

Настроение и без того было хорошее, а тут вовсе смех разобрал. Хохочем с шурином, остановиться не можем, а мужик понять ничего не может, молчит, ждет ответа. А смеялись мы потому, что только что говорили, какая страна наша богатая, лет пять уже лежат уголки на виду, и никому дела до них нет, потому что таких уголков по стране валяется столько, что можно десяток Эйфелевых башен построить. И вот только мы за них взялись, оказалось, что и ещё кому-то они нужны тоже.

— А с чего ты решил, что уголки твои, это во-первых, а во-вторых, на них что, написано, что они твои? — это я начинаю, вроде бы шутя, для оправдания, а с другой стороны обидно, почти допилили.

Еще бы немного, взяли бы на плечи по прогону и ушли.

— Вы что, не видите, что они возле моего огорода лежат?

— А тебя как зовут-то?

— Николай.

— Василий, — я протянул ему руку, — а это — Роман, — показал я на шурина. — Слушай, да возле моего огорода сосед свои «Жигули» ставит, а у меня и мысли не возникло загнать их в свою ограду.

Мужичок задумался, а я, не давая ему опомниться, на той же лёгкой волне продолжал:

— Может они действительно твои, тогда покажи справку, где ты их приобрел, и я не буду возражать. А мы что, выходит, зря трудились, ты бы попробовал сам тупой ножовкой шиньгать эту железяку. Роман, дай ему ножовку.

— Ну ладно, — непонятно в каком смысле и к кому обратился Николай и пошел домой.

Через несколько времени, как сказал бы писатель Ким Балков, к нам подошел смурного вида молодой человек, судя по ужимкам и татуировкам на пальцах, недавно вернулся из мест определенных.

Присел на пригорке.

— Ну, вы чё, мужики, шухер устроили, местных обижаете...

— Да не говори, попали мы с Романом в историю, куда ни кинь, везде кинокомедия получается. Всё бы ничего, да мы полдня потратили на эту хренову железину, которая никому не была нужна, а теперь вдруг стала необходима. А где твой Николай был, когда мы начали пилить? Пришел бы, ему из окна видно, всё бы решили миром, мы же не прятались, на пригорке у всех на виду. А он что, выжидал, чтоб подороже продать?

Последнюю фразу я ввернул по инерции, занесло на повороте:

— Я так думаю, пусть ставит бутылку за труды наши праведные и забирает уголок. При надобности шов можно заварить, и все будет как ничего и не было.

Парень был не очень словоохотлив, молча стал подниматься с земли.

— Пиво будешь? — Роман протянул ему стеклянную бутылку.

— А почему бы и не выпить с интересными людьми.

Он ушел, а через некоторое время вернулся.

— Пойдемте, Николай зовет во двор. И уголок прихватите.

Сюжет обретал непредсказуемое развитие. Мы взвалили на плечи предмет нашего разногласия и, покачиваясь, двинулись за парнем.

Николай ждал нас во дворе с «болгаркой» в руках.

— Сюда кладите, — показал он кивком головы на валявшуюся под ногами

чурку и нажал на кнопку. Двигатель истошно завопил, и из-под абразивного диска струёй брызнул огненный песок. В момент разлома диск сорвался с зажима и покотился по земле. Николай не обратил на это никакого внимания.

— Можете забирать, — сказал как-то нехотя, равнодушно и, не прощаясь, пошел в избу, и уже перед порогом, не оглядываясь, бросил: — Андрей, помоги им дотащить...

Веселое настроение как-то сразу сгасло. По пути мы зашли в магазин, купили бутылку «андроповки», посидели втроем у меня на веранде за разговорами о предстоящем таежном сезоне, вспомнили удачные походы, забавные истории. На том и расстались. Прощаясь, я передал Николаю новый обрезной диск, который был у меня припасен на всякий случай.

А металлическую калитку я так и не соорудил. На мой век хватит и деревянной.

Семейство Кореневых

Павел Прокопьевич и Тамара Федоровна жили в ладном пятистенке, смотревшем окнами с голубыми ставнями на речку Култушную. Хозяин сам срубил этот дом в пятидесятые годы, строил для себя, поэтому каждое бревнышко было подогнано, каждая доска отстругана, хотя электрических рубанков в то время в личном хозяйстве не было, стайка для скота, баня и прочие надворные постройки сложены основательно и надежно. Тогда еще сохранялось плотницкое и столярное мастерство, традиции не были потеряны. Когда я с ними познакомился, они уже были на пенсии, но держали коров, при них росли телочки и бычки, во дворе в клетках жили кролики и бегали по двору куры. Из пятерых детей на то время только одна Ульяна жила недалеко, в Талой, на середине пути из Култука в Слюдянку, и работала на ферме. Младший сын Павел служил в Советской Армии, а трое старших сыновей жили на Северах, в иные годы наезжали к родителям в отпускные сроки. Помню, как расцветали мать с отцом, как оживали, становились моложе, суетились и летали по усадьбе, стараясь угодить шумным отпускникам. Иногда приезд совпадал с покосом, и как отраднo было в большой крепкой, объединенной трудом семье находить и свое место, обучаясь, может быть, не слишком сложному, но нелегкому и требующему сноровки косарскому искусству.

Познакомился я с ними, когда поехал на велосипеде искать по Култуку, у кого можно брать молоко, чтобы договориться на всё лето. На односторонней улице Крылова, окнами смотревшей на речку Култушную и Камаринский хребет за ней, встретил женщину, гнавшую из стада корову. Это и была Тамара Федоровна, невысокого роста, в силу возраста раздавшаяся в ширину, смуглая кожей, с темными волосами, заправленными под косынку. Ясность взгляда, открытость и искренняя простота покорили меня, привыкшего к сдержанности городских знакомств и отношений. Мы стали приходить в их дом с Тамарой, иногда мылись в бане, пока не было своей, в сенокос помогали косить и грести сено, нам это было в новинку и в радость. Даже Тамара, горожанка неисправимая, в первый же год вошла во вкус и научилась вести прокос, как потомственная крестьянка. Тамара работала в аптеке, а Тамара Федоровна разбиралась в народной медицине, была потомственной знахаркой, заговаривала грыжу, лечила детей от испуга и других болезней, знала многие травы и их целебные свойства.

Как-то Тамаре понадобился спорыш, или горец птичий, это такая травка с на-

учным названием «*polygonum aviculare*». По описанию и рисунку не всегда можно определить траву на луговине или в лесу. Возвращаясь после тщетных поисков, мы зашли к Корневым, Тамара Федоровна угощала нас чаем с голубичным вареньем. Тамара спросила про спорыш.

— Пойдете домой, я вам покажу.

Я с недоверием отнесся к тому, как спокойно и уверенно Тамара Федоровна ответила. Мы целый день лазили по склону вдоль тракта, срывали похожие предположительно травки-муравки, считали тычинки и рассматривали листики, и все напрасно. А тут вот, пойду и покажу.

Тамара Федоровна пошла нас проводить, распахнула калитку и указала глазами под ноги:

— Вот она, трава-мурава, её у нас гусятником называют. Ее гуси очень любят.

Под ногами сплошным ковром и влево и вправо вдоль улицы уходила невысокая, стелющаяся плотно трава.

Возле нашей избушки, у самого крыльца и в других местах огорода нашли заросли этого растения, используемого в гомеопатии, тибетской и китайской медицине, и многие века применявшегося при различных болезнях нашими предками.

Павел Прокопьевич рассказывал

На том берегу Култушной стояла свиноферма, многие советские предприятия имели подсобные хозяйства. Так и «Автовнештранс» обзавелся свиньями для своих работников, даже небольшие посевные площади вдоль речки разработали, до сих пор распаханная клочки земли выделяются. Часть их приспособили местные жители под покос, часть зарастает дурниной.

Запах от свинофермы стоял крепкий и протяжный, и медведи, естественно, народец ленивый и до падали охочий, обнаруживали себя в этих краях, особенно на подступах. Я и сам, собирая грибы или возвращаясь из ягодников, неоднократно слышал рык этих хозяев тайги в пяти минутах ходьбы до дома.

Медведь наведывался на ферму, падалью промышлял, а главное, пугал жителей, собиравших грибы за речкой. Трагических случаев не было, но потому и не было, что думали и вовремя принимали меры.

Медведь до поздней осени ходил к свиноферме, питался падалью, но по какой-то причине не залегал на зимовку. Уже по снегу Павел Прокопьевич со товарищем, после очередного переполоха пошли по следу. Переполох-то был только со стороны женщин, работавших на ферме. Может быть медведь и сам вскоре нашел бы себе берлогу. Но соседство с медведем всегда непредсказуемо, неуравновешенность его психики известна сибирским охотникам и таёжникам.

Выпал снег, и мужики двигались на некоторой дистанции друг от друга, иногда один уходил по следу, а другой оставался на месте.

— Я-то молодой был, Николай старый охотник, когда он понял, что медведь нас скрадывает, а не мы его. Он нашел подходящую лесину, забрался на неё. Я предполагал его впереди, а когда я услышал выстрел сзади, я мгновенно подумал, что он в меня стреляет, оглянулся, а медведь крутился на снегу в сорока метрах от меня. Кровью брызгал в стороны. Он его добил вторым выстрелом. Если бы не сообразительность и опыт Николая, неизвестно, чем бы наша охота закончилась.

С Павлом Прокопьевичем я ходил за ягодой в дальнюю тайгу. Он был небольшого роста, несоразмерно широкий в плечах, быстрый мужик, я едва поспевал за ним по таежной тропе, а он был старше меня почти вдвое, но сельская жизнь, в отличие от городской, развивает сноровистость и выносливость, физическую силу, а как иначе, когда приходится надеяться только на себя: горожанам не надо ни печку топить, ни воду носить, ни за скотиной ходить, ни сено косить. Характером Павел Прокопьевич был наделен шептунным и резким, матерное словцо не истощалось в его лексиконе, ругался он не зло, и больше для связки слов, чем для оскорбления собеседника, но однажды все-таки «отбрил» соседа по какому-то незначительному случаю, тот написал заявление участковому, и Павел Прокопьевич заплатил штраф десять рублей. Он вспоминал этот случай с улыбкой, добавляя при этом:

— А соседа материть я все же не перестал.

Иногда он основательно запивал. Опохмелка могла длиться неделю, и тогда он терял всякое восприятие действительности. Однажды в ветреный морозный день я встретил его возле магазина в рубашке, расстегнутой на груди, обуви на нем никаких не было, кроме носков. Я увел его домой, но ноги он все-таки успел обморозить.

Русские люди болезненнее других реагируют на несправедливость, хотя могут довольствоваться самым малым, самым необходимым, и правители наши всегда пользовались этим. В девяностые годы, брошенные государством, без всяких надежд на будущее, многие находились в худшем положении, чем во время Отечественной, тогда помогала вера в победу. С нищенской пенсией одна надежда на домашнюю живность, от которой и молоко и мясо, и яйцо, да и куриный бульон из ставшего бесполезным в хозяйстве петуха — на пользу и удовольствие.

Шныряющие по огороду куры, теленок, тычущийся в ладонь холодным носом и шершавым языком слизывающий крошки с ладони, и собака, приветливо виляющая хвостом, и кормилица Зорька из возвращающегося с пастбища стада, издали узнающая хозяйку, приветствует её восторженным, вырвавшимся из нутра: Му-у-у-у, эхом повторяющимся в узком распадке, — всё это поэзия живого мира, связывающего душу человека с природой.

Однажды в подпитии Павел Прокопьевич бросил фразу:

— Сталин умер, никто Родину не любит.

В этой неуклюжей, казалось бы, даже пародийной фразе была кондовая правда, боль за крушение Советского Союза, тех основ жизни, на которых стояло целое поколение простых трудяг, к которым относил себя и Павел Прокопьевич.

Весь день «страдали» на сенокосе на Карантине. Вечером пили чай в их тесной кухонке, а когда уже собирались домой, Тамара Федоровна достала из шкафа карманного формата растрепанный молитвослов, завернутый в ситцевую тряпицу в мелких голубых незабудках, с жестяными потемневшими крышками, на передней тисненый образ преподобного Серафима Саровского, на задней святого Феодосия Угличского, архиепископа Черниговского. Молитвослов уже ремонтировался чьим-то неумелым старанием: корешок из фиолетовой бархатной ткани отклеился с одной стороны и торчал неровным краем.

— Вот, Вася, возьми, у тебя руки умелые, приведешь в порядок и будешь пользоваться. Может, нас грешных помянешь когда...

Молитвослов был издан в Москве Синодальной типографией в 1912 году. На титульном листе эпитафия: «Непрестанно молитесь. О всем благодарите: сия бо

есть воля Божия о Христе Иисусе в вас». Не могу сказать, издавался молитвослов уже в таком виде, с металлическим окладом, или был одет в него позднее. В девятнадцатом — начале двадцатого века книги издавались без переплета, и сам хозяин заказывал переплёт по своему вкусу, это видно по старинным изданиям в редких фондах библиотек. Иногда на переплёте можно найти и фамилию владельца книги.

Края страниц, особенно в начале и в конце блока, были растрепаны и истерты по краям, на некоторых темнели круглые пятна капнувшего воска свечи. Видимо им долго пользовались без обложки, я разобрал его по страницам, почистил, нашел клочок переплётной кожи, вырезал корешок, подклеил края, заново сшил блок.

В поездках он всегда со мной в моей дорожной сумке, а иногда и в кармане куртки. И всякий раз, когда я раскрываю его утром, перед сном или в пути, или на могиле ушедших в вечность близких моих, я вспоминаю и Тамару Федоровну, и Петра Прокопьевича, честных русских людей, достойно проживших свою жизнь, добывавших хлеб свой в поте лица своего, умевших и трудиться, и веселиться, смиренно несших тяжёлый свой русский крест. Помяни, Господи, во Царствии Твоем раб Твоих Тамару и Петра и прости им прегрешения вольная и невольная.

Роман Захарович

Он долго руководил «Автовнештрансом». Невысокого роста, крепкий в плечах, с твёрдым характером, рассудительный и добрый. В пятидесятых воевал в Корее, но не любил об этом рассказывать, я замечал, что это свойственно большинству воевавших. Меня с ним познакомил Миша Просекин. Бывало Роман Захарович заходил ко мне с каким-нибудь приятелем, в конце недели, но чаще мы общались с ним в его кабинете, «Автовнештранс» находился в двухстах метрах от моей избушки. Как советский человек, он воспринял крушение СССР как личную трагедию, и разговоры наши чаще съезжали на эту болезненную тему. Он пользовался уважением в коллективе за простоту и прямоту общения. Когда возникали сложные ситуации в шоферском коллективе, он мог одним ударом кулака разрешить все споры. За это его уважали, хотя были в гараже и кипешные мужики. Но авторитет власти и власть авторитета были незыблемы. Врезать по челюсти неуступчивого шофера, если по справедливости, считалось делом чести. И простота начальника подкупала подчиненных. В повести «Дом из силикатного кирпича» Михаил Просекин приводит историю, связанную с Валерием Николаевичем Косенком, героем повести, в котором култучане узнали Романа Захаровича: «Однажды в общегититии автомобилистов, находясь в подпитии, задурил известный, обладающий немалой телесной силой бузотёр Миня — принялся крушить кой-какую мебелишку, издавать угрожающее рычание и, что называется, гонять людей. Оказавшийся там Косенок вышел на Миню безмолвно, скользкой походкой, и, чему особенно удивлялись, вроде и не ударил его по-настоящему, а всего лишь как-то чиркнул, мазнул ему по челюсти. Всем показалось, что с Миней ничего не случилось, он лишь утратил буйность и, тараша соловые глаза, замер на месте. «Должен упасть», — приглядываясь к нему, сказал Косенок. И точно, через секунду-другую Миня брякнулся на пол с раскинутыми руками, обезвреженный и посрамлённый. «Ты же дерёшься, значит и тебя можно пощупать, — втолковывал ему Косенок, приводя его в сознание холодной водой. — А если ещё появишься тут да возмёмься за своё, устрою на казённые харчи. Запомни...»

Понятно, что эта история, описанная Михаилом Просекиным, может быть, и не имеет никакого отношения к Роману Захаровичу, но характер его допускает подобное развитие сюжета.

Недопетая песня

У всякой песни есть конец, даже если она не допеваётся до конца. И стали мы с женой поговаривать о трудностях култуковской жизни. На седьмом десятке по четыре часа добираться в один конец — удовольствие не из приятных. Я работаю, подолгу жить в Култуке не могу, эти постоянные поездки выматывают, одно утешение — чистый воздух, баня, тайга, грибы, ягоды, рыбалка. Но ездить уже тяжело, а жить постоянно в Култуке невозможно по многим причинам, а главное — непрерывные атаки, разбой. Уедешь на неделю, вернешься — двери настежь, стали наркоманы селиться, варить своё зелье.

В прошлом году мы с женой попали в больницу с атипичной пневмонией. Выжить — выжили, но последствия оказались настолько серьезными, что мы до сих пор не пришли в прежнюю форму, да и придем ли?

* * *

Зимой я не ездил в Култук, и уже ближе к весне навестил. Снегу зимой было много, хотя для Култука это редкость, и когда я открыл калитку, то увидел в снегу проторенную дорогу, было видно, что всю зиму ходили по этой тропе. Дверь в сени была открыта настежь. Кто-то жил в избушке, топил печку, включал электроплитку. Когда я внимательней присмотрелся, понял, что кто-то варил коноплю, отжимал, пользовался растворителем. Вся посуда загажена какой-то тягучей маслой — остатки производства.

Вытащил всю посуду на улицу, навел порядок. Дверь изнутри была изрублена — в нее кидали нож. Уже засыпая, услышал скрип снега — «хозяин» пришел. Лежу, думаю, что делать. Когда шаги приблизились к окну, я покашлял, обнаружил себя. В такой ситуации не знаешь, как действовать, что делать, лучше всего не делать глупостей, не хвататься за ружьё, хотя в первое мгновение эта мысль главенствует, подумать. Шаги смолкли, и мне даже не хотелось подниматься, брать фонарь и выходить, смотреть, кто там и что там. Утро покажет. Заснул я быстро.

* * *

Не надо быть опытным следопытом, чтобы отличить вечерние следы от позавчерашних. Хотя на этот счет есть охотничья байка. Молодой начинающий охотник спрашивает опытного:

— Дядя Коля, а как вы отличаете, когда коза прошла, давно или недавно?

— А ты помет видишь?

— Вижу.

— Возьми в руку.

— И что, холодные, замерзшие катыши.

— А ты их в рот возьми, через минуту разойдутся — два дня назад прошла, через тридцать секунд — день назад, ну, а если теплые... Только что.

— Фу...

— Ну, если фу, то ты никогда хорошим охотником не станешь.

* * *

Утром я обследовал снег. От окна в сторону бани отпечатались двухметровые шаги. «Заяц» подлетел к забору и, не касаясь его, перелетел на другую сторону, затем, не сбавляя темпа, пошел в гору тем же аллюром, потом вдоль горы... Дальше я не пошел, но удивило меня, с какой силой летел мой неожиданный постоялец, видимо, молодой, крепкий. И зачем губить себя всякой дурью и дрянью?! Но робей был пуганный, я попытался повторить его шаги и не смог, размер обуви примерно 37 указывал на небольшой рост. Но забор-то у меня — два метра и десять сантиметров высотой. Это для точности.

* * *

В очередной раз я навестил домик за две недели до Пасхи Христовой. Снег перед калиткой уже стоял. Я обратил внимание, что калитка не замотана проволокой, как я сделал перед отъездом. Посмотрел на избушку, окна не были занавешены изнутри — значит, кто-то опять побывал у меня. Во дворе я увидел чужую собаку. Из избушки вышел какой-то парнишка и, не видя меня, шагал навстречу. Ему было на вид лет пятнадцать. На тропинке разойтись было невозможно, поэтому столкнулись, что говорится, нос к носу. Я уже начинал закипать изнутри: ясно, что кто-то живет в доме.

— Ты кто и откуда? — не нашелся я, что бы сказать поумнее и пожестче.

— Я здесь не живу, — парень, видимо, начинал понимать, кто я.

Я поднял лежавшую на придавленном кусте малины увесистую круглую палку:

— Сейчас будем разбираться, кто здесь живет...

Я успел достать носком сапога задницу убежавшего подростка. Потом я сожалел об этом, парнишка оказался не при чем.

«Что происходит? Заселились какие-то люди без страха и совести, живут. Что делать?»

Мысли лихорадочно крутились вокруг ситуации, но я уже вошел в избушку. За столом слева сидели три подростка, справа — девчонка. В избушке было тепло и чисто. Я резко для устрашения замахнулся дубиной на подростков:

— Ну, с кого будем начинать?

Парнишка, ближний ко мне, шархнул к столу. Сидевший посредине встал:

— Я сейчас всё объясню. Вас дядя Вася зовут?

— И что?

— Мне дядя Петя сказал, что вы сдаёте домик. Мы с Лерой пришли, дом был открыт, мы постучали, никто не открывал, мы до вечера прождали, думали вы придёте, а затем устроились на ночлег.

— Как-то всё просто у вас. Пришли, зашли. А у меня вот здесь холодильник стоял, здесь стиральная машина, телевизор. Где это всё?

Холодильник и телевизор, и стиральную машинку я придумал, всё это унесли раньше, но хотелось хоть как-то их пристыдить, напугать, Лера спокойно наблюдала за спектаклем, который разыгрывался всерьез. Впервые я приехал к себе на дачу, а оказался в гостях...

— Ребята, вы хоть понимаете, в какую историю влипли? Или для вас нормально войти в чужой дом, взломать дверь и жить, даже с хозяином не договорившись?

— Я вам сейчас всё объясню...

— Как вижу, ты хорошо всё объясняешь, а как тебя зовут-то, мальчик?

— Николаем, я могу и паспорт показать.

Паспорт, конечно, посмотреть надо было, но я же не участковый, поверил на слово.

— А ребята, может быть, пусть идут, они здесь не при чём? — Николай посмотрел на меня.

— Пусть идут. А ты, парень, извини, — это я тому, которого встретил в огороде, — я же не знал, что тут за ситуация.

— Да ладно, что уж теперь...

Они ушли, а мы с Николаем перешли на веранду. Я заметил, он вибрировал всем своим хрупким телом, не мог подкурить сигарету, спичка не слушалась пальцев.

— Тебе лет-то сколько?

— Двадцать один. А что, я выгляжу моложе?

Он действительно выглядел подростком. Подружка его тоже была несовершеннолетняя, как выяснилось позже.

— А где твои родители?

— Я детдомовский, в Слюдянском «Солнышке» воспитывался.

— Но вам же дают квартиры по совершеннолетию.

И он начал мне сочинять, что квартиру кто-то отнял, что у Леры умерла мать, отец уехал в Иркутск, с мачехой ужиться не получилось, жили у тетки, но дом недавно сгорел, и пришлось заселиться в мой.

Так я обрел неожиданных «родственников».

Когда я рассказал об этом Валентину Григорьевичу Распутину, он зашел в редакцию в понедельник, он спросил или ответил за меня:

— И ты, конечно же, разрешил им остаться в доме...

* * *

Шла страстная седмица. Я разрешил им пожить до Пасхи, но предупредил, что мы с женой после Пасхи будем сажать огород.

— А мы можем вам помочь и вскопать и посадить картошку.

— Ну а как мы вместе будем в этом курятнике жить?

Прежде чем приехать в очередной раз, мне надо было встретиться с ними, я позвонил Лере на мобильный, так мы договорились. Повторял набор несколько раз. Телефон был отключен.

Я приехал утренней электричкой в Култук. В избушке никого не было. Стол был завален грязной посудой, на полу валялись пустые бутылки из-под водки, пива, вина, окурки. Нечистый дух прокуренной теплушки висел в воздухе. Квартиранты справляли проводины.

Всё стало понятно, но я всё же позвонил ещё раз. Телефон отключен. Я открыл настежь дверь, затопил печку и начал прибираться в избушке.

И явилась ясная и простая мысль: всё, край, дальше здесь жить невозможно, как поётся в песенке, пора съезжать на новую квартиру... На этом и успокоился.

«Дурак думке рад» — ёмкая поговорка. Подумать-то я подумал, но как изменишь ход жизни, складывавшийся десятилетиями, где взять деньги на покупку новой дачи в другом месте при наших пенсиях? Обстоятельства заставили сми-

риться, и мы продолжали с женой наезжать в Култук, сажать огород, ходить за ягодой и грибами, ждать в гости детей и внуков и провожать их по воскресеньям на электричку, на Вербный.

В межсезонье я навещал свой домик, после очередного взлома и какого-нибудь мелкого грабежа, хотя брать у нас нечего, заделывал прораны, ремонтировал запоры, восстанавливал разбитые окна, всё это было привычно и не вызывало даже досады.

* * *

Ручей, который вытекал из просекинского распадка, истощился, и не дотекал до речки Култушной, как прежде. В прошлом году он едва дотягивал до мостика в конце нашей улицы. Водоколонка целый год не работала, и воду приходилось носить от мостика, а потом и там источник иссяк. Я стал возить воду из речки на велосипеде: наполнял пластиковые бутылки, загружал их в рюкзак, взваливал на плечи, крутил педали до подъёма, избушка стоит на взгорке, спешился и доставлял воду до крыльца. В этом году колонку запустили в работу, и можно пользоваться с девяти часов до шестнадцати, до перебоев воду можно было брать круглосуточно. Вода, видимо, застаивается, запах от неё идёт несвежий, поэтому пьём только кипяченой.

Русло ручья за зиму завалили всяким мусором и отходами, хотя через дорогу, ближе к крайним домам метрах в сорока, расположены мусорные ящики. «Широк русский человек, я бы сузил». Но в широте и беспредельности нас вряд ли кто остановит, вдоль дорог железных и асфальтовых, таёжных и просёлочных, везде, куда может добраться автомобиль, кучи мусора. Всё, что в хозяйстве домашнем отслужило свой срок, вывозится прочь из дома (такое разграничение своего дома и общего природного, в своей ограде чисто, а за оградой — срач, другого слова не подберёшь), растут бесчисленные свалки вдоль чистых таёжных рек, назвать их чистыми можно только с оговорками; на лугах и полянах, на заброшенных покосах и лесных полянах, — как будто люди ослепли и оглохли в погоне за внешними благами, не видят поэзии и красоты всякий год обновляющейся природы, в напоминание данной нам Богом, чтобы мы не очерствели взглядом, не заскоружили слухом, восторгаясь очередным весенним воскрешением. Уже кажется глупым размышлять о разумности человека, отравленного цивилизацией, homo sapiens всё больше становится самоубийцей, не способным осознать своего безумия. А тех, кто говорит об этом, слушают и не слышат, да и сами самоубийцы любят поговорить на эту тему абстрактно, не имея себя в виду, потому что слово и дело в современном человеке окончательно расторгли свой союз, и слиться воедино смогут только на пороге вселенской катастрофы, перед неотвратимой неизбежностью, которую сами человеки так старательно приближают. Не будет ли поздно?

Сегодня большинство осознаёт вред, наносимый «хозяйственной» деятельностью человека, но обратного хода человечество не делает, и делать не собирается, и есть ли он, обратный ход?

* * *

Нашей писательской общиной мы участвовали во многих событиях култувской жизни и когда жили в посёлке, и когда вернулись в Иркутск. Приезжали и на

Просекинские чтения, учрежденные по нашему предложению, в них участвовали и многие иркутские писатели, не имевшие никакого отношения к посёлку. Эта традиция сохраняется и ныне стараниями директора библиотеки Розы Петровны Токаревой. В Култукской школе постоянно проходили различные школьные конференции, участниками которых были преподаватели иркутских вузов, филологи, историки, биологи и другие специалисты, в зависимости от тематики. После одной из конференций участники и школьники, и руководители семинаров, заложили парк на берегу Байкала, на пустыре, который с одной стороны примыкал к станции Култук на Кругобайкальской железной дороге, а другой упирался в окраину посёлка. К сожалению, парк не состоялся, не был обнесён достаточным ограждением, и дикие козы и коровы не оставили от насаждений и следа. А на повторное действие никто не решился. «Зачах наш бедный сад...»

Иммигранты Кузнецовы

Распад Советского союза стеганул лопнувшими стальными тросами по лицам русских людей больше, чем по другим. Ленинская национальная политика работала как запоздалый детонатор распада СССР. Десятки миллионов русских оказались в одночасье изгоями, в странах, где их стали считать людьми второго сорта, в странах, которые своим рождением обязаны российской империи, странах, под дланью русского царя сохранивших свои традиции и саму национальную жизнь. Местечковый бытовой шовинизм так называемых малых народов вытеснял русских из своих домов, лишал работы, а подчас и самой жизни. Русских обвиняли во всём, что творили местные князьки.

Армейскую службу я проходил в Семипалатинске, городе, основанном русскими, и в шестидесятые годы двадцатого века большинство населения в этом городе составляли русские, как и в других промышленно развитых городах Казахской ССР. В нашей радиолокационной части служили армяне, немцы, корейцы, узбеки, украинцы, молдаване и другие, хотя, естественно, русские составляли большинство и в рядовом, и в командном составе. И если бы тогда кто-то стал говорить о межнациональной розни, его бы просто подняли на смех, этого представить было невозможно, даже обладая богатой фантазией. Мы ходили в увольнение, общались с казахами, бывали на их свадьбах.

В 1995 году я познакомился с Олегом Слободчиковым, писателем, приехавшим из Казахстана, но уже нового, перестроенного, в Иркутске его приняли в Союз писателей России, а позднее я предложил ему возглавить отдел прозы в журнале «Сибирь». Он приобрёл половину дома на станции Шумиха на Кругобайкалке, бывал у меня в Култуке, я наезжал к нему на Байкал. Он рассказывал, что происходило в Казахстане, когда местечковые князьки почувствовали власть и стали вытеснять русских. Кто мог стали возвращаться в Россию. Принимал беженцев и Култук. Типична судьба семьи Кузнецовых.

Вначале я познакомился с Кузнецовыми заочно. Их историю мне поведал Олег Слободчиков.

А спустя какое-то время, летом, я собирал грибы на склоне горы и встретил молодого человека в армейской форме, так как местных я знал в лицо, догадался, что это Саша Кузнецов, он недавно вернулся из армии. Господь сводит людей на земле по какому-то Ему Одному известному плану, и, казалось бы, люди, кото-

рые никогда не должны были встретиться, встречаются там, где они и быть-то не должны по ходу жизни. И само единение происходит естественно, по тому же необъяснимому притяжению.

Клавдия Петровна Кузнецова рассказывала:

— Жить становилось в Алма-Ате невыносимо. Вокруг нагнеталась напряженная атмосфера злобы. На улицах, в автобусе казахи стали выказывать неприязнь. Когда мы продавали квартиру, покупатели предлагали доллары, но мы не знали, что с ними делать (а вдруг в Култук негде будет обменять), и попросили в рублях. А пока собирали вещи, ехали в Сибирь, рубль обесценился, и мы приехали в Россию нищими. На остатки денег смогли купить машину бруса на дом да машину досок. Жили у сестры. Пошли работать и я, и дети, Саша с Элиной.

Судьба этой семьи похожа на миллионы других. Советский Союз стал большим территориально объединенным табором, под напором власти человеческие массы перемещались по огромной территории, подобно тектоническим сдвигам, в основном в северо-восточном направлении: расцерковление, расказачивание, раскулачивание. Беломорканалы, Днепрогэсы, великие комсомольские стройки требовали рабочей силы, «севера» заманивали людей большими деньгами, национальная Россия была раздавлена, размыта и затоплена искусственными водоёмами. До сих пор всплывают со дна отеческие гробы и деревянные обломки сожжённых жилищ.

Жили в Черемховском районе четыре сестры и брат.

Вспоминает одна из сестёр, Нина Петровна Курсанова: «В детстве мы жили по месту ссылки наших родителей, бабушек и дедушек в Черемховском районе, пос. Касьяновка. Папу с родителями сослали в Касьяновку из Воронежской области, Ново-Калитвянского района, в их оставленном доме впоследствии открыли почтовое отделение. Маму с родителями сослали в Касьяновку из Башкирской АССР, Хайбулинского района.

В Касьяновке для ссыльных строились бараки, в которых каждой семье была выделена одна комната. А семьи были большие. Наши дедушка, бабушка, мама, папа своими силами построили дом и выехали из барака. Так сделали многие семьи. Но многие и остались там жить. Со временем бараки перестроили, и у каждой семьи появилась квартира.

По окончании школы, получив образование в Иркутске, мы разъехались по стране. Клава уехала в Алма-Ату, к родителям мужа, так как он находился в армии. Мария, окончив техникум, уехала к Клаве. Я уехала в Норильск, туда направили мужа на работу после окончания Иркутского политехнического института. Старший брат, Женя, уехал из Касьяновки в Приморье после того, как в посёлке закрыли шахту, работать было негде, и посёлок зачах. Тоня осталась жить в Черемхово. В 1981 году Тоня с семьёй переехала в Култук, мужа назначили директором «Автовнештранса». Наступили 90-е годы. Жить в Казахстане стало невозможно. Русских притесняли, работы не стало, и Клава решила на переезд в Россию, т.к. казахи вытесняли русских. С трудом продали квартиру и переехали в Култук. Почему был выбран Култук? Потому, что здесь жила старшая сестра. Было где жить в первое время и строить дом. На деньги от продажи дома Клава успела купить стройматериалы, правда частично, в начале 90-х была большая инфляция, деньги быстро обесценились, и нанимать строителей было не на что. Строил дом сын, Саша, — один. Дочь, Элина, помогала деньгами. Мария тоже вынуждена была продать свою квартиру в Алма-Ате и приехать в Култук. Мы с мужем жили

в Норильске, и нам нужно было думать, куда поехать после ухода на пенсию. Выбирать не пришлось. Деньги в 1991 году «сгорели». Купить квартиру было не на что. Поэтому было решено строить дом. Вместе с сёстрами написали заявление о выделении участков под строительство домов. Землю выделили, и мы начали строиться. В стране был закон, касавшийся северян, о строительстве кооперативных квартир в любом районе страны, кроме Москвы, после выхода на пенсию. Но нас нигде никто не ждал. Сначала нужно устроиться на работу, пожить в общежитии с семьёй лет пять, потом встать на очередь в кооператив».

Издавна в России была традиция строить избы сообща, это называлось — помочи. Собирались всем миром и возводили дом. Хозяйка готовила еду, кормила работников, в завершение устраивалось праздничное застолье.

Идея помочь казахстанским беженцам пришла Олегу Слободчикову, он спросил меня, могу ли я поработать на строительстве дома Кузнецовым.

Я согласился. Топор в руках я держать умел, неоднократно в «диких» бригадах рубил дома, а набравшись опыта и сам руководил бригадой. С моим товарищем Николаем Косаревым даже ездили в Ерофей Павлович, так называется посёлок в Амурской области, где в то время работал его друг, бывший строительные подряды по всей стране. Мы там за лето срубили большой брусовой двухквартирный дом.

В советское время «дикие» бригады по численности превосходили армейские дивизии, по всей стране нанимались на строительство в летний сезон армяне, молдаване, украинцы, русские, бригады работали в основном в сельской местности, строили котельные, коровники, жилые дома и другие объекты, в чём нуждались колхозы и совхозы. Заработки, учитывая, что работали от зари до зари, были хорошие, но местные мужики даже на период отпуска редко нанимались в эти бригады, но не от лени, а по какой-то другой причине. Вкалывать, как у нас говорят, они умеют. Хотелось, наверное, отдохнуть в отпуске.

В субботу в Култук приехал Олег Слободчиков с братом. На участке нас ждал Саша Кузнецов. Расчистили площадку, уложили оклад, за два или три дня подняли сруб наполовину, установили оконные и дверные коробки. Это всё, что нам позволяло время: у каждого были свои планы, заботы, работы, и Саша Кузнецов, двадцатилетний парень, один достраивал свой первый в жизни дом. Но не последний.

Весна 2013

Всю зиму я не ездил в Култук, и уже ближе к весне собрался. Зима выдалась снежной, хотя для Култука это редкость, когда я открыл калитку, то в глаза бросилась проторенная в снегу грязная колея, было ясно, что всю зиму ходили по этой тропе. Дверь в избушку была распахнута настежь. Понял, что кто-то жил в избушке, топил печку, включал электрообогреватель. Зимний постоялец к тому же варил зелье, у печки валялись тряпичные скрутки с отжатой травой, бутылки из-под растворителя, кастрюли загажены какой-то тягучей слизью — издержки производства.

Вытащил посуду на улицу, прибрался, подмёл полы. Дверь изнутри была иссечена — в нее кидали нож. Большая карта мира, закрывавшая всю стену над моей лежанкой, изрезана ножом на части. Больше всего досталось территории СССР. Уже засыпая, услышал скрип снега — «хозяин» пришел. Лежу, думаю, что делать.

Когда шаги приблизились к окну, я покашлял. В такой ситуации не знаешь, как действовать, что делать, лучше всего не делать глупостей, не хвататься за ружьё или топор, хотя в первое мгновение такая мысль кажется наиболее верной. Шаги смолкли, и мне даже не хотелось подниматься, брать фонарь и выходить, смотреть, кто там и что там. Утро покажет. Заснул я легко, от усталости и какого-то странного безразличия, человек такая скотина, что ко всему быстро привыкает, как к плохому, так и к хорошему.

* * *

Перед новым 2016 годом, в начале декабря я поехал в Култук. Подходя к калитке, увидел, что, хоть снегу было много, но широко и плотно утрамбованная ногами тропа говорила о длительном передвижении народных масс туда и обратно, даже выпавший ночью снег был примят. Утром здесь ходили. Ставни плотно притворены, а я никогда их не закрываю. Запоры на дверях в сени были взломаны, в избушке было тепло, электрообогреватель, который я в спешке осенью не успел засунуть куда-нибудь подальше с глаз, был включен. Похоже, что «хозяева» недавно куда-то вышли. Полки на стенах были чисты, ни посуды, ни всего прочего, необходимого для постоянной жизни на них не было. «Кому нужна эта рухлядь?» — подумал я. Но потом обнаружил в сенях и одежду и посуду и прочее, всё было уложено в коробки, вёдра и корзины. Мне непонятно было, зачем это сделано, но в дальнейшем объяснилось. Сомнений не было, в доме кто-то живёт. Я позвонил участковому, объяснил ситуацию.

Оперативники без особого интереса слушали меня, бегло взглянули на искорёженные двери, спросили, что пропало. Я вынудил, именно вынудил составить протокол. Участковый пообещал в течение недели понаблюдать за домом и, если что-то обнаружат, позвонить. Но я не дождался звонка и поехал через неделю сам.

Свежие следы возле дома, похудевшая поленица дров, помои, вылитые прямо под стену дома, всё указывало на присутствие квартирантов. Стало ясно, что ждать милости от полиции не приходится, придётся брать их самому. Я запер дверь снаружи, открыл ставни, постучал:

— Эй, ночевальщики, пора просыпаться.

Занавески на окнах были задёрнуты изнутри, ничего не было видно, но лампочка просвечивала сквозь тюль. Я не был уверен, что сейчас в доме кто-то есть. Постучал в дверь — тишина. Снова подошёл к окну: лампочка погасла, а когда отходил, заметил, как дрогнула занавеска.

Звоню участковому:

— Ну, что же вы, Михаил Александрович, обещали наблюдать, а так ни разу не подъехали. Они как жили, так и живут преспокойненько. Запер я кого-то, подъезжайте, разбирайтесь.

Гости, вероятно, услышали мой разговор, вышли в сени, стали вести переговоры из-за двери:

— Дед, выпусти нас, мы не при чём. Мы ночью в три часа приехали из Иркутска, нас сюда пустили переночевать. Мы не при делах, — голос парня был чистым и приятным.

— Ребятки, у меня к вам никаких претензий нет, если вы не при чём, подождите немного, сейчас полиция прибудет, и им расскажете всё и пойдёте по своим делам.

— Слушайте, зачем полиция, давайте так уладим дело, мы заплатим, скажите сколько.

— Если вместе с моральной компенсацией, — решил пошутить я, — то тысяча пятьдесят хватит.

— Да ты что, дед, где мы возьмём такие деньги? Ну хоть девчонку-то выпусти.

Переговоры шли, а полицейских не было. В окно в сених высунулся молодой человек, неширокий в плечах, он мог бы протиснуться между металлическими прутьями. Я вытащил из кармана куртки револьвер. Он соскользнул вниз. Револьвер был не боевой, сигнальный, но кто ж его определит по внешнему виду.

— Ребята, наберитесь терпения, я вот уже сорок лет терплю, а полицию первый раз вызвал.

Позвонил участковый, сказал, что наряд должен подъехать, и в это время я увидел двух молодых людей в черных куртках, идущих от ворот.

Вслед за ними протиснулся в избушку. Там оказалось трое молодых парней, лет двадцати — двадцати трёх, и девчонка, совсем юная, лет, наверное, шестнадцати. Красивое чистое светлое лицо и ясные голубые глаза.

— Опасные, острые, режущие предметы, паспорта — на стол. — Оперативники ощупали карманы парней. — Собирайтесь, на выход.

Это были опрятные, хорошо одетые молодые люди, смущённо, как мне показалось, воспринимавшие эту ситуацию, не было ни дерзости, ни злости, ни наглости. Явно они случайно оказались в это время в этом месте. На наркоманов не походили, а девчонка, это светлолицое хрупкое существо, что она делала в их компании, может, была сестрой кого-то из них?

Крыша милицейского «уазика» проплыла над забором вниз и пропала. Я остался один. В груди было напряжённо и пусто.

Листом ДСП закрыл намертво окно в сени, прикрутил длинными стальными шурупами деревянный щит, обшитый жостью, на дверь и уехал вечерней электричкой в Иркутск.